

ИЗ ТВОРЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ

(НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ)

Вступительная статья и публикация К. П. Богаевской

1

«Соколий перелет» — под этим полюбившимся Лескову заглавием до нас дошло четыре незавершенных его произведения. Самое большое из них — «Повесть лет временных», первая часть романа — состоит из двух «книг» («Героиня и ее двор» и «Бойцы и выжидатели»). Первая «книга» была напечатана самим Лесковым в четырех номерах «Газеты Гатцука» в феврале и марте 1883 г.¹

Более чем за год до этой публикации «Петербургская газета» сообщала 3 декабря 1881 г., что «Н. С. Лесков пишет новый большой роман под заглавием «Соколий перелет»², а 15 декабря — что роман приобретен «Газетой Гатцука» и будет напечатан в 1882 г.³

Однако после окончания первой «книги» печатание неожиданно прекратилось. И в том же номере «Газеты Гатцука», где были помещены последние главы, появилось «Письмо в редакцию» Лескова с отказом от продолжения, раскрывающим, кстати, подтекст заглавия романа.

«Я сознаю всю неловкость этого отказа, но не могу поступить иначе, — писал Лесков. — Роман этот начат писанием давно — более двух лет назад, при обстоятельствах, которые для печати весьма разнятся от нынешних. В романе я хотел изобразить «перелет» от идей, отмеченных мною двадцать лет назад в романе «Некуда», к идеям новейшего времени (<...> Каков бы показался в этом *общественном значении* роман «Соколий перелет», я не знаю; но я хорошо знаю, что он не пошел бы в тон нынешнему взгляду на литературу, и во что бы то ни стало *я останавливаюсь*. Останавливаюсь просто потому, что — верно или неверно — я нахожу эту пору совершенно неудобною для общественного романа, написанного правдиво, как я стараюсь по крайней мере писать, не подчиняясь ни партийным, ни каким другим давлениям».

Далее Лесков иронически обещал написать роман чисто бытового характера, на мотив всегда удобных для разработки положений: «Влюбился и женился» или «Влюбился и застрелился»⁴.

Здесь уместно привести свидетельство И. А. Шляпкина, который часто встречался с Лесковым со второй половины 1870-х годов: «Для истории общего мировоззрения Лескова за это время важен неоконченный роман «Соколий перелет». Это своего рода продолжение «Некуда». «Я хочу показать, где русские передовые люди поднялись и где они сели», — говорил он»⁵.

Начало второй «книги» романа, до сих пор так и не увидевшее света, сохранилось в бумагах писателя. Оно занимает всего пять листов и обрывается на первой главе в середине диалога героя и его дочери⁶. Но, кроме того, в архиве Лескова находятся еще три зачина повестей или романов, также озаглавленных «Соколий перелет». Сюжетно в них нет ничего общего. И хотя все они написаны от первого лица, действие в них происходит в совершенно различной обстановке, с различными персонажами. Связывает эти три наброска, кроме названия, и одинаковый подзаголовок — «Записки человека без направления» (в двух случаях — «Из записок человека без направления»).

В первом, самом крупном по размеру и наиболее интересном по содержанию отрывке, который мы и выбрали для публикации, повествование начинается с детских лет героя и захватывает период его юности. Здесь появляется образ Безбедовича, прошедший через несколько задуманных Лесковым произведений.

Во втором отрывке (на 5 л.) — «Соколий перелет. Приключения в моем семействе» — герой — морской офицер, раненный в бою с французской кавалерией во время Крымской войны. Он лежит в госпитале с тяжелой раной. «Я непременно должен бы умереть, если бы меня не спасло «глупое направление», как объявил это на мой счет мой недозрелый доктор»⁷.

Следующий отрывок только начат (на 1 л.). В нем изображается «самая жаркая семейная баталия», где, видимо, спор произошел опять-таки из-за «направления». Повествование тут обрывается на полужизне рассуждения героя — «Если только недостаток этого так называемого «направления» есть большой порок в человеке, то я боюсь, что бедная Гоиль когда-нибудь, подобно мне, будет сильно страдать этим пороком, чего я, впрочем, ей и желаю, так...»⁸.

К «Сокольному перелету» явно примыкает еще один отрывок без заглавия, без начала и без конца, начинающийся словами: «Вы не склонны много полагаться...» Он построен на диалоге Безбедовича и допрашивающего его Фромана. На этих страницах ярко выражено мировоззрение Безбедовича, сторонника широкой свободы слова и вообще свободы для народа, человека в высшей степени благородного, защищающего своего товарища, обвиненного в чтении ученикам сочинений Герцена. Но это не мешает ему симпатизировать Александру II, потому что тот «отменил крепостное право, откуп, телесное наказание и безгласный суд»⁹.

Трудно определить последовательность этих набросков. Ясно одно, что они создавались и были брошены Лесковым до начала 1883 г.

Об этом свидетельствует дата — 19 февраля 1883 г., поставленная писателем под его знаменитым рассказом «Тупейный художник». В этот рассказ Лесков перенес из публикуемого нами отрывка образ героини нового произведения — няни Любови Онисимовны, «из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского»¹⁰. В рассказе повторяется вкратце и эпизод с травлей собаками духовенства.

Несомненно, автор «Тупейного художника» использовал в новелле мотивы навсегда оставленного им произведения, а не наоборот¹¹.

Первое упоминание о «Сокольном перелете» встречается в письмах Лескова 1875 г. 1/13 июля он пишет из Парижа своим детям: «В Мариенбаде надеюсь дописать повесть, которую начал и которая будет называться «Соколий перелет»¹².

Но тот ли это «Соколий перелет», о котором шла речь выше, или только то же название другого замысла? Нам кажется более вероятным второе предположение¹³.

Еще из Петербурга Лесков сообщал 6 апреля 1875 г. И. С. Аксакову, что хочет «уехать месяца на три за границу и сесть за роман», а в письме от 3/15 августа из Мариенбада он рассказывал А. П. Милюкову о своем желании «написать нечто вроде «Смеха и горя» под заглавием «Чертовы куклы» и тут же добавлял: «... я за это уже принялся»¹⁴. Название «Чертовы куклы», как и «Соколий перелет», писатель использовал неоднократно в 1870—1880-х годах для произведений, сюжетно меж собой порой ничем не связанных.

В архиве Лескова сохранилось семь редакций начала «Чертовых кукол» с подзаголовками: «Фантастическая повесть»; «Роман. Часть первая. Рапсодия»; «Повесть»; «Фантастический рассказ»; последняя редакция, совсем не похожая на предыдущие, озаглавлена — «Чертова кукла».

Рукописи трех зачинов этих произведений датируются С. П. Шестериковым 1875 г.; остальные четыре редакции — 1880-ми годами¹⁵.

Однако не следует связывать эти наброски с известными «Чертовыми куклами» Лескова, также незавершенным романом конца 1880-х годов, посвященным художнику Фобуфису (т. е. К. П. Брюллову) и серальным правам при дворе Николая I.

Между замыслами 1875—начала 1880-х годов и этим романом общее только заглавие (у Лескова были аналогичные случаи использования одинаковых заглавий для совершенно разных произведений — «Дикая фантазия», «Нашествие варваров») ¹⁶.

«Чертовыми куклами» Лесков называл людей, лишенных силы воли и каких-либо принципов; «... чего не хотят, то делают, и чего не любят, то и заводят: *черт ими в куклы играет*», — говорит Безбедович в X главе публикуемого нами начала «Соколье перелета» (курсив наш. — К. Б.).

А впоследствии сам Лесков писал В. М. Лаврову (14 июня 1889 г.) о Фебуффисе: «Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих, *Чертовы куклы*»¹⁷.

«Бесхарактерность» персонажей — вот единая черта в разных замыслах Лескова. Эта бесхарактерность могла прекрасно уживаться с «перелетом» от идей начала 1860-х годов «к идеям новейшего времени», как определял Лесков тематику своего незавершенного романа в цитировавшемся выше «Письме в редакцию» «Газеты Гатчука».

Писатель явно колебался, какому заглавию отдать предпочтение — «Чертовым куклам» или «Соколье перелету». Почти в каждом зачине встречаются связующие их мотивы; иногда повторяются имена персонажей (Сарра, Гоиль) и в особенности фамилия Брасовых с названием их имения с. Брасово (эта же фамилия появится позже и в романе «Незаметный след»). Но это детали, главное сходство в другом — несомненно, что в каждом из замыслов должен был участвовать «человек без направления». Выше мы встречали его в набросках «Соколье перелета».

Обратимся к «Чертовым куклам».

«Я человек без направления, и всего пламеннее благодарю за это так создавшего мою душу, что она никому не раболепствует и никого не ненавидит: все, что есть, нужно до времени», — заявляет герой первой редакции «Чертовых кукол», капитан Бернитов¹⁸. Тот же Бернитов фигурирует и во второй редакции и также называет себя — «человеком без направления» (здесь, кстати, упоминается сестра его — Паша, «женщина без направления») ¹⁹.

Герой четвертой редакции «Чертовых кукол» «всегда спешил назвать себя «человеком без направления» (гл. II). Насмотревшись во время Крымской кампании на людей, лишенных твердых убеждений, переменчивых и беспринципных, он заявляет: «Если это жизнь, если это называется *направление*, то я не хочу этой жизни и останусь без направления»²⁰.

Вспомним набросок «Соколье перелета», написанный от лица участника Крымской войны. Эти два зачина определенно тяготеют друг к другу и очень похожи на разные редакции одного и того же замысла.

«Человек без направления», в глазах Лескова, лицо положительное, обладающее «даром свободы», не приносящее «живых жертв бездушным идолам направлений». Одно из главных действующих лиц незаконченного романа «Незаметный след» (о котором речь будет ниже) — Лев Безбедович за свою честность, непримиримость и нежелание покрывать бесчеловечные поступки соседних помещиков заслужил от них прозвище «человека без направления»²¹.

Сын Лескова справедливо заметил сходство Льва Безбедовича с отцом писателя, который также мог называться «человеком без направления»²². И сам Лесков никогда не принадлежал ни к какой общественной группировке, ни к какой партии. Он, как Пушкин, с полным правом мог сказать о себе: «Я числюсь по России».

Второе, что объединяет «Чертовых кукол» с «Соколым перелетом», — это главный персонаж. Имя его — Адам Львович Безбедович; за женственную внешность его все зовут «Мадам Львович». Впервые это имя появляется в третьей редакции «Чертовых кукол» 1875 г. («Рапсодии», гл. III), его носит учитель, «довольно пожилой уже университетский кандидат»²³. Но здесь он только упоминается, образа его еще нет. Как живое реальное лицо мы видим его в пятой редакции «Чертовых кукол» («Полная луна, высоко стоя на безоблачном летнем небе...»): «Он и дурно скроен, и нехорошо спит, и производит впечатление злого человека, если не совсем таков на самом деле»²⁴.

Самая близкая к «Соколье перелету» — шестая редакция «Чертовых кукол» («Фантастический рассказ»), в которой выступают три друга. Один из них — Брасов, второй — Безбедович. Рассказ ведется от лица третьего друга — Коренева: «Безбедович был даже немножко безобразен. При довольно высоком, мужском росте он обладал какою-то особенною, не по-мужски, а по-женски расположившеюся дородностию



Н. С. ЛЕСКОВ

Фотография Н. А. Чеснокова. Петербург, 1880-годы

Сударственной надписью: «Наталье Николаевне Блументаль,—моей куме, которую я дружески люблю и уважаю за ее человеколюбивое сердце и простой обычай.

Николай Лесков. СПб., 1891 г.

Литературный музей, Москва

и имел нечто бабье в лице и в походке, а также в звонком, трескучем голосе, которым напоминал сварливую торговку»²⁵. В большом разговоре Безбедовича с Корневым встречаются те же строки, что и в X гл. публикуемого нами «Сокольего перелета»: «Я пасу, братец, самых гадких свиней и не могу от этого воздержаться». Далее автор разъясняет, что под «свиньями» имеется в виду страсть Безбедовича «к загулу». Как и в «Сокольем перелете», Безбедович горячо заявляет, что он не хочет быть «чертовой куклой».

Главы «Сокольего перелета», печатавшиеся в «Газете Гатцука» (хотя в них и не намечена прямо тема «человека без направления»), также приводят нас к Безбедовичу; здесь он — учитель, друг тюремного смотрителя и его юной дочери Сусанны. В неизданной второй «книге» дан такой его портрет:

«Адам Львович был мешковатый человек, обличавший уж в его молодые годы склонность к тучности, которая придавала его фигуре какое-то бабственное сложение. Лицо он имел такое же полное, с тугою растительностью и широко расставленными коричневыми глазами, которые смотрели очень умно. Это было лучшее украшение его

лица, вообще некрасивого, но очень симпатичного. Кроме того, в нем был виден семинарист, немножко неуклюжий, но притом, однако, умеющий держать себя с достоинством»²⁶.

Самая полная и развернутая характеристика душевного облика Адама Безбедовича дана в публикуемом нами «Соколем перелете». Сравним приведенные выше цитаты с физическим портретом Безбедовича в X гл. этой редакции:

«Адам Львович был очень нехорош собою и неуклюж. Самое верное из сравнений, которые делали по поводу его наружности, есть то, что он был похож на здоровую, старую бабу...» и т. д., но в сношениях с ним люди забывали «и его бабье безобразие и его неприятный, резкий, трескучий голос, еще более увеличивавший его сходство с простонародною женщиной»²⁷.

Из приведенных нами параллелей ясно, что изучать творческую историю замыслов «Сокольного перелета» и «Чертовых кукол» в отрыве друг от друга невозможно.

Бросив начатые «Чертовы куклы», а за ними и «Соколий перелет», Лесков принял за новый роман — «Незаметный след». Первая часть романа, ныне прочно забытого и также написанного от первого лица, была напечатана в журнале «Новь» в 1884 г.²⁸ Но и этот роман постигла участь предыдущих — он остался незаконченным.

В том же журнале в конце года было помещено письмо Лескова в редакцию, посвященное «Незаметному следу», где он объяснял: «...разные неблагоприятные обстоятельства, о которых неуместно было бы говорить здесь, помешали мне исполнить принятое мною на себя обязательство»²⁹.

Из оставленных замыслов писатель перенес сюда того же Адама Львовича Безбедовича. Поставив его в несколько иную обстановку, Лесков, по всей видимости, хотел сохранить душевные свойства и некрасивую, женоподобную внешность своего героя.

В сохранившихся главах «Незаметного следа» изображены только детские годы Адама. Отец его, как и в «Соколем перелете», хотя и русский по крови, был выходцем из Литвы, из семьи, принявшей унию. Вместо Саратова он был выслан в город О. (родной Лескову Орел), где и разворачивается действие.

А вот портрет будущего героя: лицо маленького Адама «отдавало излишнюю здоровую и простонародностью типа <...> и притом тоже имело свою странную особенность — простонародный тип его был не столько мужской, как женский. Адам походил на здоровую крестьянскую девочку, и это замечали все, кто его видел, и даже сами наши родители немало этим тешились <...> Душа в брате в самом деле замечалась хорошая. Он был без принуждения послушен, добр, кроток и нежен, как самая нежная девочка, но при этом с первых же дней, как в нем стали замечать понимание, он обнаруживал способность обдумывать все свои действия. Вообще он отличался тихою, почти меланхолическою задумчивостию, за которою потом в результате следовали самые решительные движения в самом положительном роде <...> Отец и наши семейные друзья очень рано стали называть брата Адама стоическим философом в бабьем футляре»³⁰. По словам его отца, у Адама было «превосходное сердце, над которым рано пролетает голубь и снизу проползает змей, и оба они оставляют незаметный след»³¹. Здесь открывается неожиданный смысл названия романа — символ чистоты и мудрости.

Бесспорно, что главным действующим лицом нового романа намечался Адам Безбедович. Но стал бы он «человеком без направления» или нет — сказать трудно³². Ясно одно — все замыслы Лескова были им оставлены незаконченными, так как он, говоря его собственными словами, находил эту «пору совершенно неудобною для общественного романа, написанного правдиво»³³.

2

О творческой истории «Подвига купца Кинарейкина» ничего не известно. Что послужило толчком к созданию этого произведения? Почему оно осталось незаконченным? Никаких высказываний и упоминаний в переписке Лескова об этом нет.

В архиве писателя, кроме публикуемой нами незавершенной повести³⁴, сохранился еще один коротенький зачин, с тем же заглавием и подзаголовком. Этот набросок

(на такой же бумаге, что и основной текст) написан от лица скромного офицера, мечтающего «присстроиться по штатской службе» и для этой цели приехавшего в Петербург «летом 188* года». Он останавливается в «меблированных комнатах» «между двух купцов, из которых один жил с женою, а другой в одиночестве». На характеристике супружеской пары текст обрывается³⁵. Прямой связи с публикуемой нами повестью здесь нет.

Третьим замыслом начала повести можно считать черновые строки, написанные Лесковым прямо поверх первого абзаца основного текста и сбоку на полях. Они целиком посвящены Редее. Приводим их полностью:

«Засиделся Редедя во стольном во городе, и стала Редее скука смертная: «Ешь устерсы и в Азю до ночи все чиновничьи вздоры слушаешь — только кровь киснет: Поеду я в Сиву и развою всех азиатов до смерти». Стал в этот род и с людьми поговаривать и нашлись ему товарищи. «И нам,— говорят,— надоело киснуть. И мы бы поехали, только будет ли нам за это авантажное награждение». Редедя говорит: «Будет». «А будет — так и «айда». Стал Редедя добывать войска и корму — войска ему дадено и кормы обещаны, да он на те кормы не надеялся — не любил до страсти интендантских чиновников. «Они,— говорил,— мне в дальней стороне всегда всех людей переморят и все дела спутают. Пойду лучше на свой страх воевать — свое истрачу, зато получу венец славы воителя».

Пошел домой, счел свою казну — видит, казна не малая,— поднять силу есть на что, а когда пойдет одоление, так тогда за помоогоу дело не станет: и долг вернут и дадут на докончание. Надобен только Редее такой русский удал человек, чтобы знал все тропы и дороженьки и в широкой степи все былиночки...»³⁶.

На первом листе основной рукописи слева сверху карандашом стоит дата — «27 июля» и два неиспользованных заглавия: «Герой нашего времени» и «Воевода». Под последним заголовком, вероятно, подразумевался генерал Михаил Дмитриевич Скобелев (1843—1882), выступающий в «Подвиге купца Кинарейкина» под своим собственным именем.

Как относился Лесков к Скобелеву? Доподлинно это также неизвестно. В переписке и сочинениях писателя имя этого прославленного полководца почти не встречается. В повести «Интересные мужчины», описывая похороны юного Саши, Лесков вспоминает: «Я видел, как в Москве хоронили Скобелева... Тут больше, чем где-нибудь, прорывалось того, что отдаёт настоящей скорбью...»³⁷

А 26 марта 1888 г. он возмущенно выговаривал издателю «Нового времени» А. С. Суворину: «Неужели Гаршин не стоил траурной каемки вокруг его трагического некролога?... Почему, спрошу? Нам, литераторам, он ближе, чем Скобелев!»³⁸ Оба эти упоминания ни о чем не говорят. Некоторая оценка заключается в третьем случае.

Разбирая повесть Л. И. Веселитской «Мимочка», Лесков нравоучает: «Величие подвигов есть вманка, которая может отводить от истинной любви. И Скобелев искал величия»³⁹. Здесь уже слышится нотка осуждения — «искал величия», т. е. был суетен и далек от «настоящего христианства». Но в повести Скобелев обрисован в спокойных, реалистических и отнюдь не обличительных тонах, скорее он положительный персонаж, хотя впервые появляется в необычной обстановке, у «жержезок», что, впрочем, было типично для его репутации. Уместно привести здесь характеристику Скобелева, принадлежащую перу Е. М. Феоктистова:

«Это была демоническая натура, одинаково способная на добро и зло; в обществе человек, по-видимому, скромный, но изумлявший своих приятелей самым безобразным развратом; готовый жертвовать жизнью на поле сражения, но как ловкий актер всегда с расчетом на эффект; выше всего ценил он популярность, и никто не умел так искусно приобретать ее; не без основания Д. А. Милютин называл его необычайно одаренным кондотьером»⁴⁰.

Почему же Лесков дал популярнейшему деятелю своего времени, удачливому завоевателю Средней Азии имя Редеди — касожского хана, убитого в XI в. на поединке с князем Мстиславом Владимировичем?

Известно, что Щедрин в «Современной идиллии» (1882—1883 гг.) изобразил комическую фигуру — «странствующего полководца» Полкана Самсоновича Редеди, воен-

ного авантюриста, обжора, бабника, фантазера и непоседы, прозванного почитателями «русским Гарибальди» и особенно восхищающего своей славой «купеческие сердца» (гл. XII — XIII и XXVII — XXVIII) ⁴¹.

В герое сатиры Щедрина современники узнали «покорителя Ташкента» — реакционного генерала М. Г. Черняева, скомпрометировавшего себя в глазах общества во время сербско-турецкой войны в 1875—1876 гг.

Но возможно, что Щедрип придал своему Редее и некоторые черты из деятельности Скобелева. Например, Редее в «Современной идиллии» (гл. XXVII) отправляется завоевывать Египет. В Египте не были ни тот, ни другой военачальник. Здесь возможен намек на Скобелева, которого противники обвиняли в бонапартизме. «Я видел Бонапарта, возвращавшегося из Египта», — иронически писал московский генерал-губернатор В. А. Долгорукий по поводу триумфальной встречи Скобелева после взятия им туркменской крепости Геок-Тепе ⁴².

Вслед за Щедриным Лесков также называл Черняева Редеей. Очевидно, это стало принято в литературных кругах. Подобный персонаж появляется в неизданном произведении Лескова — «Неоцененные услуги. (Отрывки из воспоминаний)» ⁴³. Посылая рукопись в редакцию «Русской мысли», Лесков писал В. А. Гольцеву 10 мая 1891 г.: «Здесь описана правда, смешанная с вымыслом и затушеванная, чтобы иметь право быть печатаемою. Указываю для вас некоторые имена: «Цибелла» — Новикова, «княгиня» — Радзивилл, «баронесса» — Иксуль, «Корибант» — Комаров, «Редеея» — *сами знаете кто*. События верны действительности» ⁴⁴.

В «Неоцененных услугах» изображены представители русского общества 1870-х годов, связанные с дипломатическими делами и прессой. Упомянутый в письме к Гольцеву В. В. Комаров (Корибант) издавал в то время консервативную газету «Русский мир» при активном участии Черняева.

Поступки и характер Редеди в «Неоцененных услугах» не имеют никакого отношения к биографии Скобелева, но прямое — к деятельности Черняева. Эти воспоминания Лескова не увидели тогда света, вероятно, из-за цензурных соображений (рукопись, посланная в «Русскую мысль», не дошла до нас; сохранился только черновик).

Через три года в очерке Лескова «Вдохновенные бродяги», направленном в основном против М. Н. Каткова, упоминается вскользь «г(енерал) Редеея», сопровождавший вместе с Комаровым авантюриста Ашинова (также персонажа «Неоцененных услуг») ⁴⁵.

Трудно сказать о брошенном автором произведении — каким бы оно стало в окончательном виде. Может быть, Лесков далее и показал бы авантюристические стороны характера Скобелева, сближающие его с Черняевым. А, быть может, наоборот — имя Редеди было бы уничтожено и таким образом сходство исчезло бы.

Во всяком случае в строках, приведенных нами выше, образ Редеди, «засидевшегося во стольном во городе» и стремящегося «развоевать всех азиатов до смерти», нарисован явно сатирически, а в развернутой редакции тон совсем иной. Не хотел ли Лесков сначала изобразить Скобелева, заботливого командира, берегущего не только людей, но и верблюдов ⁴⁶, а потом переключился на Черняева? Вполне возможно, что писатель думал то об одном, то о другом полководце. Для него здесь главным героем был, конечно, Кинарейкин, русский сметливый, изобретательный «удал человек», а все остальные лица служили лишь фоном для его изображения. Не к Кинарейкину ли отгосился и черновой вариант заглавия повести — «Герой нашего времени»? Это заглавие с равным успехом можно отнести как к Скобелеву, так и к лихому кушцу, от которого Лесков в действительности слышал рассказ об его «подвиге».

Прототип Кинарейкина, несомненно, существовал. Лесков прямо говорит в конце первой главы повести, что изменил имя своего героя: «На самом деле у кушца Кинарейкина была иная фамилия».

Кто же он? Ответ на этот вопрос находим в воспоминаниях врача А. В. Щербака, бывшего в отряде Скобелева в Ахал-Текинской экспедиции 1880—1881 гг. Рассказав о разгроме Скобелевым проворовавшихся интендантов, Щербак далее пишет:

«Кое-кого арестовали. Это вызвало страшную панику среди торговцев и продовольственных чиновников, отразившуюся рикошетом даже в Красноводске и в Михайловском заливе».



РАБОЧИЙ КАБИНЕТ Н. С. ЛЕСКОВА

Гравюра

«Полное собрание сочинений Н. С. Лескова», т. XII, СПб., 1897

Между тем время не терпело. Приходилось как можно скорее воспользоваться всякими мерами, чтобы выйти из затруднительного положения. Тогда генерал Скобелев обратился к купцу Громову *, которого он знал лично со времени своих туркестанских походов и к которому имел доверие.

«Можешь взяться за поставку и перевозку?»— спросил его генерал.

«Постараюсь»,— отвечал тот.

«Есть у тебя деньги?»

«Тысяч полтораста наберется, ваше превосходительство».

«Ну, берись с богом! Не хватит денег,— дам своих. Ты ведь понимаешь положение дела?»

В тот же день из Чигишлара в мирные туркменские аулы помчались джигиты и приказчик Громова.

На третий день у домика Скобелева толпились уже туркменские старшины. Среди их, в черкеске и с толстой пачкой денежных депозиток, выделялась высокая фигура купца Громова. Владея в совершенстве туземным языком, он быстро заключил с ними условия, раздавая при этом денежные пачки. Расписок с туркмен в получении задатков не бралось, что еще более внушало им доверие.

Не прошло и недели, как Чигишлар стал наполняться тысячами верблюдов.

Дело выгорело и Скобелеву вздохнулось свободней⁴⁷.

Диалог Скобелева с Громовым о верблюдах, записанный Щербаком, очень напоминает разговоры «белого генерала» и Кинарейкина в повести Лескова. Это сходство подтверждает достоверность рассказов купца, использованных писателем.

* Громов попал в Закаспийский край благодаря поставке партии верблюдов из Бухары на Михайловскую линию. Пригнав верблюдов вместе со своим приказчиком, Громов, искренно привязанный к Скобелеву, пожелал остаться при нем во время экспедиции, что и было ему разрешено.— *Примеч. А. В. Щербака.*

Характерна для творческой манеры Лескова замена простой русской фамилии — Громов на вымышленную с юмористическим оттенком фамилию — Кинарейкин, симболизирующую купеческий быт.

Написан «Подвиг купца Кинарейкина» не раньше конца 1888— начала 1889 г. В XI гл. повести Лесков сравнивает внешность своего персонажа, расстриженного дьякона Фаптея, с обликом палача на картине И. Е. Репина «Св. Николай останавливает казнь». Картина эта была закончена в 1888 г. и экспонирована впервые на 17-й выставке передвижников в Петербурге 26 февраля 1889 г.⁴⁸ Сам Лесков видел картину еще в мастерской художника, о чем свидетельствуют его письма к автору (см. о них далее, с. 83), но, конечно, он не мог бы говорить «известная картина Репина» ранее ее общественного признания.

Когда же поставлена на рукописи дата — 27 июля, летом 1889 г. или позже? Решить трудно. Вероятно, все же, что и она, и оба намеченных заголовка связаны с начатой и отмененной переделкой начала повести.

3

Незаконченный рассказ Лескова «Московское привидение» по изображению типа ловкого и предприимчивого купца и купеческого быта близок к повести «Подвиг купца Кинарейкина». И писался он почти в то же время — в начале 1885 г.

Черновой автограф этого незавершенного произведения сохранился в бумагах Лескова, в конверте с его собственноручной надписью: «Московское привидение. Рассказ кстати».

В декабре 1886 г. писатель выпустил сборник «Рассказы кстати» (СПб.— М., изд. М. О. Вольфа). В него вошли вещи, помещенные Лесковым в различных органах печати за 1884—1885 гг.: «Совместители», «Старинные психопаты», «Интересные мужчины», «Таинственные предвестия», «Александрит», «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме».

Переиздавая этот цикл в VII томе собрания своих сочинений (1889), Лесков добавил к нему еще два рассказа — «Умершее сословие» (1888) и «Голос природы» (1883).

В письме к Суворину Лесков так определил этот жанр: «... между мною и читателем стояли события дня, по поводу которых в то время писались эти рассказы «кстати». Ведь это журнальные фельетоны»⁴⁹.

«Московское привидение» предназначалось, вероятно, также для публикации в каком-нибудь периодическом издании как отклик «кстати» на фельетоны С. Н. Терпигорева в «Новом времени» о Москве⁵⁰. Но почему-то Лесков оставил этот замысел незавершенным.

Почти все «рассказы кстати» носят характер исторических анекдотов. События, изображенные в них, происходят главным образом в 1840—1850-х годах. К 1850-м годам относится и время действия в «Московском привидении».

Единственный из исследователей — Л. П. Гроссман обратил внимание на рукопись «Московского привидения». Цитируя несколько строк из рассказа, он пишет, что из наблюдений над этим столичным «первачем» выростала фигура Фирса Князева в «Расточителе»⁵¹.

Незавершенные произведения Лескова публикуются по беловым автографам с авторской правкой, находящимся в ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1: «Соколий перелет» — ед. хр. 15, л. 1—26 об.; «Подвиг купца Кинарейкина» — ед. хр. 74, л. 1—26 об.; «Московское привидение» — ед. хр. 64, л. 1—19.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Газета Гатцука», 1883, № 7—10, 19 февраля — 10 марта (гл. I—X; с неверной нумерацией последних глав — XI и XII). Никогда не перепечатывалось. Рукопись неизвестна.

² «Петербургская газета», 1881, № 285, 3 декабря (в хронике «Изо дня в день»).

³ Там же, № 295; то же — в «Новом времени», 1881, № 2084, 15 декабря.

⁴ «Газета Гатцука», 1883, № 10, 10 марта, с. 206 (Лесков, т. 11, с. 222—223).

⁵ И. А. Шляпкина. К биографии Н. С. Лескова.— «Русская старина», 1895, № 12, с. 209.

⁶ ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 15, л. 33—37.

⁷ Там же, л. 27—32 об.

⁸ Там же, л. 45—45 об.— *Гоиль* — персонаж наброска, молодая девушка.

⁹ Там же, л. 39—44.

¹⁰ Это замечено было и Л. П. Гроссманом, процитировавшим несколько строк из «Соколье перелета» (Л. Гроссман. Н. С. Лесков. Жизнь — творчество — поэтика. М., 1945, с. 19).

¹¹ Лесков, т. 7, с. 221—223.— «Тупейный художник» был опубликован Лесковым в «Художественном журнале» 6 марта 1883 г., т. е. одновременно с печатаньем «Соколье перелета» в «Газете Гатцука».

¹² Жизнь Лескова, с. 316.

¹³ Датировка «Соколье перелета» из «Газеты Гатцука» не вызывает сомнения. Сам Лесков в «Письме в редакцию» 10 марта 1883 г. заявлял, что роман писался «более двух лет назад». Если даже предположить в данном случае неточность автора, то другой документ подтверждает правильность его датировки.

26 октября 1881 г., предполагая дать что-нибудь для газеты «Русь», Лесков писал И. С. Аксакову: «На будущее время пока ничего ясного не придумал, но, может быть, напишу вам «справедника» из острожных зрителей, между коими наиболее встречаются «звери» (Лесков, т. 11, с. 252). Этот «справедник» изображен в лице майора Колыбельникова, тюремного смотрителя, в редакции «Соколье перелета», напечатанной в «Газете Гатцука».

Комментируя «Письмо в редакцию», И. Я. Айзеншток пишет, что «Соколий перелет» «был задуман писателем еще в середине 70-х годов» (Лесков, т. 11, с. 656). Никаких оснований для такой датировки не имеется, кроме цитированного выше письма Лескова к детям, но оно, видимо, относится не к названному роману.

¹⁴ Лесков, т. 10, с. 395 и 415.

¹⁵ В описании рукописей Лескова (несостоявшееся из-за войны 2-е издание «Бюллетеня» Гос. Литературного музея) покойный исследователь его творчества С. П. Шестериков датирует 1875 г. три редакции начала «Чертовых кукол» (две начинающиеся словами: «В небольшом кружке русских...») и одна с подзаголовком — «Роман. Часть первая. Рапсодия». К сожалению, ни обоснования датировок, ни комментарий к этим произведениям С. П. Шестериков не оставил. В письмах же Лескова, как известно, замысел «Чертовых кукол» упоминается впервые 5 июля 1871 г. (письмо к П. К. Щербальскому.— Сб. «Шестидесятые годы». Под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновой и цера. М.—Л., 1940, с. 320, с ошибкой в дате — 5 июля).

Любопытно сравнить тему «Чертовых кукол» со строками в рассказе «Павлин» 1874 г.: «А то ли случается в жизни, если живешь между живых людей, а не бесстрастных и бесхитростных кукол?» (Лесков, т. 5, с. 270—271).

¹⁶ Мы не согласны с точкой зрения И. В. Столяровой и А. А. Шелаевой, которые в своей превосходной статье о продолжении романа о Фебуфисе называют наброски 1870-х годов «первыми подступами» к роману «Чертова куклы», опубликованному в 1890 г. («К творческой истории романа Н. С. Лескова «Чертова куклы». — Русская литература», 1971, № 3, с. 103—104). Ближе к истине, на наш взгляд, В. А. Гебель, коротко охарактеризовавшая все семь редакций «Чертовых кукол». Она относит их к 1870-м годам и отделяет от романа о Фебуфисе (В. Гебель. Н. С. Лесков. В творческой лаборатории. М., 1945, с. 122—128).

¹⁷ «Печать и революция», 1928, № 8, с. 37.

¹⁸ ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 89, л. 25 об.

¹⁹ Там же, л. 30 и 31.

²⁰ Там же, л. 21 об.

²¹ «Новь», 1884, № 2, с. 223 и 225.

В архиве Лескова сохранился еще один черновой набросок на одном листе — «Гидры. (Современная разновидность). Из заметок человека без направления» (ЦГАЛИ, ф. 275), датируемый С. П. Шестериковым уже 1890-ми годами.

²² Жизнь Лескова, с. 27—30.

²³ ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 89, л. 42 об.

²⁴ Там же, л. 17 об.

²⁵ Там же, л. 3 об.— 4.

²⁶ Там же, л. 36 об.

²⁷ Лесков никак не мог расстаться со своим героем Безбедовичем. Значительно позже, в 1892—1893 гг., он начинает драму без названия («Чистая, просторная комната...» — ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 106). Здесь вновь появляется Адам Львович Безбедович, по прозвищу «Мадам Львович» — «50 лет, огородник». Написаны 1-е явление и начало 2-го явления I действия драмы с его участием. Сохранился также перечень лиц другой несуществующей пьесы, где Безбедович — «музыкальный учитель под 50 лет, «неженатый кавалер», друг старика Треплова», зрителя исправительного заведения, главного героя (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 106; опубликовано

Л. П. Гроссманом в указ. книге, с. 150—151; то же и в кн.: В. А. Гебель, с. 109—110).

26 февраля 1891 г. Лесков писал Льву Толстому: «Мне хочется писать «Безбедовича» — романчик с героем простого разума, и я хотел бы говорить с вами об этом характере и наметить «художественные пятна картины» («Письма Толстого и к Толстому». М. — Л., ГИЗ, 1928, с. 100. См. там же комментарии С. П. Шестерикова, с. 102). Вероятно, «герой простого разума» был близок к «огороднику» или к «музыкальному учителю» в задуманных пьесах.

²⁸ «Новь», 1884, № 1 и 2, 1 и 17 ноября (гл. I—XVII). Ни разу не перепечатывалось. Рукопись романа неизвестна.

²⁹ В редакционной статье «Новь» за год. — «Новь», 1885, № 23, с. V (Лесков, т. 11, с. 235).

³⁰ «Новь», 1884, № 1, с. 122.

³¹ Там же, № 2, с. 231.

³² А. Лесков также отмечает черты будущего «человека без направления» в «Незаметном следе» (*Жизнь Лескова*, с. 27).

³³ Вряд ли прав И. Я. Айзеншток, утверждающий, что Лесков не окончил «Незаметный след», ибо «просто охладел к замыслу «семейного романа» (Лесков, т. 11, с. 661). По всем данным «Незаметный след» должен был стать романом общественным.

³⁴ Рукопись эта поступила в Гос. Литературный музей от А. Е. Розинера, сотрудника журнала «Нива», следовательно, она была в руках его издателя А. Ф. Маркса.

³⁵ Там же, л. 27—28.

³⁶ Там же, л. 1. Написано над зачеркнутыми пятью строками «Случай, о котором ~ ~ у которых встре...» и далее на полях.

³⁷ Лесков, т. 8, с. 96.

³⁸ Там же, т. 11, с. 375.

³⁹ Письмо к Л. И. Веселитской от 20 января 1893 г. — Там же, с. 525.

⁴⁰ Е. М. Феоктистов. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Л., 1929, с. 379.

⁴¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. XV. М., ГИХЛ, 1940, с. 143—165, 289—299 (гл. XII—XIII впервые были опубликованы в «Отечественных записках», 1882, № 9; гл. XXVII—XXVIII — там же, 1883, № 5).

⁴² Цит. по статье: В. Б. Вилинбахов. Генерал «от пронусименто». — «Прометей», т. 7. М., 1969, стр. 349. — Эта статья дает много материала для изучения деятельности Скобелева и его времени (с. 346—369).

⁴³ ГБЛ, ф. 360, карт. 2, ед. хр. 16. Черновая рукопись (из архива изд-ва А. Ф. Маркса).

⁴⁴ Лесков, т. 11, с. 487. — Курсив мой.

⁴⁵ Полн. собр. соч. Н. С. Лескова, т. 21. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1903, с. 144 (гл. 21).

⁴⁶ «Приказы генерала М. Д. Скобелева. (1876—1882)». СПб., 1882 (например, приказы от 15 мая, 9 июня и 15 сентября 1880 г.).

⁴⁷ «Ахал-Тэкинская экспедиция генерала Скобелева в 1880—1881 годах. Из воспоминаний д-ра А. В. Щербачева». СПб., 1884, с. 84—82.

Об А. В. Щербачеве — с. 264—266 и 268—271 наст. тома.

⁴⁸ 17-я выставка передвижников открылась в Петербурге 26 февраля 1889 г.; закрылась 2 апреля; затем она была в Москве с 12 по 30 апреля (Г. Бузова, О. Гапонова, В. Румянцев. Товарищество передвижных художественных выставок, т. II. М., 1959, с. 136).

⁴⁹ Письмо к А. С. Суворину 15 марта 1887 г. — Лесков, т. 11, с. 343.

⁵⁰ Лесков ценил литературное дарование Терпигорова и часто помогал ему своими советами. Когда в мае 1887 г. в «Новом времени» появился фельетон Терпигорова о молодом поколении купцов, Лесков сразу же откликнулся на него. «Сюжет «воспитания свиньи» прекрасен. Это живой тип, которого не прозрел Островский. «Их» будет царствие. Это очень хорошо — верно схвачено... Я давно на них засматриваюсь. Выведи в конце путешествующего попа или дьякона и резюмируй тип его словами из Библии...» И далее Лесков приводит текст из «Книги царств», который заканчивается словами: «...отец мой был вас бичами, а я буду бить вас скорпионами» (письмо к С. Н. Терпигорову от 10 мая 1887 г. — Лесков, т. 11, с. 347). Заканчивая цикл своих фельетонов, Терпигорев воспользовался советом Лескова (см.: «Новое время», 1887, № 4034, 24 мая).

⁵¹ Л. Гроссман. Н. С. Лесков, Жизнь — творчество — поэтика. М., 1945, с. 148 (Гроссман цитирует еще несколько строк из этого рассказа, говоря о московской жизни Лескова, — с. 45 и 63). Б. М. Эйхенбаум в примечаниях к «Расточителю» повторяет эту же цитату и поясняет, что под «новыми нравами и течениями» подразумевались, очевидно, те попытки молодого купца Молчанова улучшить положение рабочих, против которых так решительно восстал старый купец Князев и городской голова Колокольцов» (Лесков, т. 1, с. 505).

СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ

ЗАПИСКИ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ

I

Во мне никогда этого не было, и с измалства, как только я начинаю себя помнить, я не мог себе усвоить ничего в этом роде. Отсюда я решаюсь заключать, что это мой органический недостаток, частью, кажется, унаследованный от родителей, но еще более развитый лично во мне, вероятно, вследствие каких-нибудь неуловимых для моей памяти случайностей моего воспитания.

Впрочем, этой добродетели весьма мало было и во всем нашем роде, а в ком из Брасовых ее было больше, в том она не всегда оставалась добродетелью, а нередко становилась даже матерью пороков и при том матерью весьма чадородною.

Это свойство направлений извращаться и переходить из добродетели в пороки при дарованной мне некоторой доле наблюдательности служит мне на скате дней моих немалым утешением. Я один из числа немногих счастливых, которые могут воздать хвалу их сотворившему за то, что они сотворены так, а не иначе, что им дано для их обихода лишь то, чем они могли управить в жизни, и не дано того, что, вероятно, было бы сверх их сил и понимания. Я могу сказать, что я очень счастливый человек, конечно, не в том смысле, чтобы у меня в жизни не было неудач и скорбей за себя и за других, кого я, не будучи отъявленным эгоистом, больше или меньше любил, но я мог жить и теперь доживаю мою жизнь в ладу с самим собою, никогда не ощущав потребности приносить живых жертв бездушным идолам направлений. Он, «чье имя чудно», по дивной милости своей позволил мне без всяких с моей стороны усилий и заслуг ходить перед ним в этом отношении с неповинными руками и чистым сердцем.

Хвала ему!

II

Когда я размышляю об этом чудном даре моей свободы, я думаю, что он, как козья милоть Илии, сброшенная с огненной колесницы плешивому Елисею¹, упала мне ради моей матери, оттуда, где должна обитать теперь прекрасная душа ее, в незаходящем свете, в покое вечной тишины.

У нее тоже совсем не было направления; она жила одною своею благою натурою, но при всем этом так далеко зрела, что даже могла воздерживать от небольших увлечений в этом роде моего отца, умственные силы которого и замечательная глубина и обширность образования давали ему перед нею, по-видимому, все преимущества.

Впрочем, я хочу еще раз оговориться, что и у отца подобного рода увлечения направлением были очень незначительны и проявлялись чрезвычайно редко, и то это было направление свойства скорее органического, чем исторически-политического.

Да это, может быть, даже совсем не было и направление, так как тогда в русской речи не обращалось еще это впоследствии столь прискучившее слово, а это было... просто своего рода вкус к известным вещам, своего рода симпатии и антипатии, небольшие пристрастия и некоторая боязнь перед иными явлениями, возбуждавшими в отце те или другие опасения, скорее по предчувствию, чем по холодным выкладкам резонерствующего и политиканствующего разума.

Он, например, терпеть не мог немцев и избегал всяких с ними соотношений, но это касалось только немцев, управляющих русскими именами и русскими департаментами, да немцев-переселенцев, которые благодаря внедрившимся здесь своим землякам сели у нас с льготами и привилегиями, которые отец считал за большую обиду русскому народу. Но он был

жаркий поклонник немецкой науки и восторженный почитатель немецких поэтов и богословских писателей, с которыми был знаком самым основательным образом, и прекрасно прилаживал полумистическое настроение последних к своему народному религиозному взгляду.

Православие тогда еще называлось «греко-российскою» верою, а в просторечии просто «русскою» верою, что ей, по-моему, идет гораздо более всякого иного названия.

Отец мой, вероятно, держался тоже довольно близко подходящего к этому взгляда. По крайней мере я могу так думать, изучив проповеди, которые он сочинял для крестьян по книге Иоганна Арндта² и заставлял своего сельского отца Павла сказывать их с церковного амвона. Православная духовная цензура, мне кажется, ни за что бы этих проповедей не позволила напечатать, но отец Павел сказывал их ничтоже сумняся и ничтоже сумняся носил на груди крест, исходатайствованный ему отцом у местного архиерея «за успешное проповедничество, послужившее возвышению правственности в приходе».

Родители мои не были ни либералами, ни консерваторами, ни аристократами, ни демократами, но были просто люди справедливые и простосердечные, хотя и «наблюдали свою амбицию». Так, например, я помню, что, когда мы ездил в возке в город по нашим многоснежным дорогам, ни отец, ни мать не позволяли кучеру сгонять в снег с торной тропы встречавшиеся крестьянские обозы, но матушка, принимая от баб тальки, не позволяла слукавить с собою и требовала, чтобы в каждом пасме непременно было сорок ниток³. Зато, когда возвратившийся в свои маетности фельдмаршал граф Каменский завел у себя театр с крепостными актерами и послал сказать собравшимся на выборы дворянам, что они могут бесплатно жаловать к нему на представления, то отец наморщил брови и отвечал послу:

— Скажи, братец, графу, что я с ним не знаком и знакомиться для театра не стану, потому что у меня в Брасове коза в сарафане хорошо скачет.

Люди мне гораздо позже рассказывали, что будто отец не поехал к Каменскому за то, что тот не задолго перед этим велел притравить собаками попов, пришедших к нему Христа славить, но, я думаю, что это одно от другого не зависело⁴.

Такова же была и покойница матушка, у которой, может быть, не достало бы резкости так ответить графу, но, когда у одной бедной девушки, вальсировавшей на бале, отпилились и упали накладные букли, что многим показалось очень забавным, матушка, тогда еще бывшая в довольно молодых годах, быстро встала с места, подошла к сконфуженной девушке и, сняв с себя букли, сказала:

— Не конфузьтесь, мой друг, это так теперь у всякой дамы.

III

Но я не думаю представлять подробную характеристику моих родителей. Для человека с воображением и приведенных мною мелочей будет достаточно, чтобы иметь о них общее понятие, насколько это нужно, чтобы представить себе слегка виновников моего бытия и <их> неспособности к направлениям.

Время их со всеми характеризующими его темными и светлыми сторонами так много раз описано, и типы, к которым они подходят, так искусно и полно воспроизведены, что не моему перу что-нибудь к этому прибавить. К тому же, я не вижу ни в ком ни охоты углубляться в эту недавно прошедшую эпоху, ни... способности понимать ее без противных предубеждений.

Все это пожрало в своей ненасытимой алчности направление, в угоду которому я не стану шевелить глухой крапивы сельского кладбища, где лежат скромные жерновные плиты на дорогих мне могилах, и стану заниматься своей особой.

Это гораздо более в духе века.

IV

Я не возмущил спокойствия моих родителей: они не трепетали за мою свободу. Во всем прошлом я помню только два случая, когда нечто вроде сомнения мелькнуло раз у моего отца и раз у них обоих.

Первое случилось, когда мне было еще восемь лет и я в кашемировом ваточном бешмете катал на лубочных салазках с горки от родника сестру Талиньку, одетую в такой же кашемировый ваточный салоп.

Мы забавлялись под надзором няньки Любови Анисимовны, высокой, тонкой и очень худой старушки, из отставных актрис «Каменского театра», которая не любила стужи и во время нашего с сестрою катанья с небольшой и совершенно безопасной горки часто уходила в избушку просвири Афимьи погреться.

Так как Любовь Анисимовна уверяла, что она зорко следит за нами из окна и, не спуская с нас глаз, во всякое время готова нам на помощь, то матушка, хотя не совсем одобрительно глядела на ее отлучки в избу Афимьи, но, однако, позволяла ей греться, в чем и была нужда, так как отставная актриса была стара и непомерно зябка, а мы с сестрою были выращены на всей деревенской воле и свободе и сделались, по выражению Любови Анисимовны, «беспокоянными гулёнами». Нам с сестрою ничего не стоило провести на воздухе добрую половину зимнего дня, но нам позволяли кататься с горки от родника один час, а няня наша не могла пробыть на холоде одну минуту без того, чтобы у нее не посинел ее длинный, необыкновенно тонкий нос, бывший в свое время главным виновником определения ее на сцену для благородных ролей. Поэтому она пряталась чаще, чем думала матушка, и не спускала с нас глаз не так аккуратно, как обещала.

У Любови Анисимовны была свойственная ее прежнему званию артистическая слабость слегка куликнуть, и просвирия Афимья оказывала ей в этом случае пригодные услуги, держа для нее корчемным образом «сорока-церковное» вино.

Но вот как все это однажды обнаружилось и что из этого вышло.

Я говорил выше о переселявшихся в Россию немцах-колонистах. Не могу теперь вспомнить откуда, но их очень много шло через наш край, и многие из этих переселенцев тянулись на своих лодкообразных санях, нагруженных всяким дешевым домашним скарбом, но сами были одеты по-заграничному: налегке. А зимы тогда стояли суровые и особенно та, в которую со мною и с сестрой Талинькой случилось небольшое приключение, которое заставило мою мать успокаивать отца за мое направление.

V

Когда мы с сестрою катались, а няня наша корчемничала в избе у Афимьи, на горе у родника показались двое саней с немцами.

Сани были очень нагружены, и все взрослые переселенцы шли возле них пешком: мужчины сводили под узды своих тощих лошадемок и поддерживали плечами громоздкие возы, катившиеся в раскаты. Лошадемок в плохих шлеях с черезседельниками, подвязанными неумелою рукою людей, привычных к выравненным дорогам, опускали плохо и оказались совершенно несостоятельными, когда дошли до места скользко отполированного нашими салазками. Передняя лошадь села на зад, замотала

головой и поехала на хвосте, а задняя ударилась мордою в торчавшие из передних * саней железные грабли, метнулась в сторону, оборвала шлею и все дело изгадила. Вozy зацепились один за другой, понеслись, раскатились и оба рассыпались, причем из большого корыта вывалилась большая, круглая руляда из связанных суконными покрояками и другими лохмотьями перин, из которых послышался отчаянный крик и после жалобный писк и стенанье.

Так как руляда эта подкатилась к самым нашим с сестрою ногам, то слышавшиеся оттуда звуки привели нас в большое недоумение и испуг, и мы, покинув свои салазки, оба бросились было улепетывать, но потом я вспомнил, что я мальчик и должен иметь храбрость. Я остановил сестру и, велел ей ждать себя на том месте, где низошла ко мне храбрость, направился к перинному свертку и, к удивлению моему, увидел, что из обоих концов этой трубки торчит по детской головке и обе эти головки режут благим матом.

Я с детства очень любил чтение, и как у отца моего была изрядная в своем роде библиотека, то я для моих восьми лет был уже достаточно начитан, чтобы присочинить себе к происходящему передо мною действительному событию свою долю фантастического вздора. Я читал рассказы о детях, похищаемых дикими, и о детях, увозимых цыганами, и возмнил себе, что я именно стою у такого происшествия. При том же я слышал, что цыгане берут детей в перинах, и эти тоже были в перине и тоже плакали.

Я не сомневался, что событие обнаруживало передо мною самое варварское похищение, и, несмотря на слышавшиеся мне снизу горы крики женщин, быстро принялся распутывать покрояки.

Узлы на морозе не очень слушались моих ребячьих рук, но как завернутые в перины пленники сами мне значительно помогали в их освобождении, то чуть я немножко ослабил узлы, из свертка выскочили двое детей — мальчик и девочка, такого, как я с сестрою, возраста, и, к крайнему моему удивлению, оба они были совершенно наги, как мать родила. И мать эта тоже была уже тут: она успела прибежать сюда из-под горы и со слезами на глазах старалась закутать детей в свою толстую суконную юбку, которая была очень жестка от мороза и топоричилась колом. В это же время бедная женщина работала руками, усиливаясь развязать узлы покрояков и снова зашихнуть окоченевших детей в находившие перины.

Ей никто не спешил помочь, потому что весь народ этого печального обоза копошился около рассыпанных возов, которые надо было уложить и увязать наново.

Я родился и вырос в деревне и никогда не видал бедности бесприютной, не имеющей где приклонить головы. Представителем самого ужасного пауперизма для меня был слепой мужик Нефед из соседней деревни, который иногда приходил к нам на двор за милостынею и всякое воскресенье пел «Иаазаря» у церковной паперти, когда народ расходился у обедни. Но в черноземной полосе, где вообще быт крестьян не отличался большою зажиточностью, и бедность слепого Нефедки немногим рознилась от обыкновенного крестьянского житья. Я знал, что у него была своя избушка, которая стояла немножко на отлете при въезде в соседнюю деревню, и что ему же принадлежала небольшая рыжая коровенка, которая зимою имела привычку лежать на солнечном угле у сеней этой избушки. Кроме того, у него были куры и гуси, которых раз загнали сторожа на наш птичий двор за потраву овсяного клина, и Нефед с своим поводырем приходили к отцу их отпрашивать.

* В автографе описка: задних

Соколий перелет

Ваточный шовик Пелл напрасно...

I

Но мне некогда стало ни дела и ни ус-
хладения. Как только и начинаю себе не
идти, а не могу ижд уловить ни что ни
сказать гуд. Отсюда я почувствую что-то
насе, что это был оригинальный изобрет-
ник, неспеша, как будто у нас сидели
они, отне гудящие, но мы вела гудя-
ли? Было ее вид, как будто вступила
вступила, как будто мы были выключены
для того чтобы избежать чего-то или
нечего.

Внутренне это гудящие вещи
было Пелл и ее очень много гуд, а
но как ни Египет в Пелл Пелл,
но так же она не была отсюда с Пел-
л, гудящие, а не гудящие отсюда с Пел-
л, гудящие гудящие и гудящие гудящие
гудящие гудящие гудящие.

Это гудящие гудящие? гудящие
и гудящие и гудящие гудящие и гудящие

«СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ»

Автограф Н. С. Лескова, начало 1880-х годов

Лист первый

Центральный архив литературы и искусства СССР, Москва

Все это, стало быть, была не та нагая и бесприютная бедность, какую я теперь видел перед собою и какой никак не мог бы себе представить без этой очевидности.

И вот у меня в груди что-то закипело, на сердце точно варом плеснуло и точно от нестерпимой боли у меня из глаз хлынули горячие слезы. Но я не нашел достаточным плакать, я хотел помогать и, впервые в жизни ощутив сладкую отвагу горячего участия к чужому страданию, я быстро составил оригинальный план, достойный моей детской сообразительности, тут же привел его в исполнение: мигом я сбросил с себя заячью шубку и мой кашемировый ваточный бешмет и отдал бешмет матери голых маленьких немцев, а потом тоже скоро раздел Талиньку и отдал ее ваточник

девочке. Сами же мы одели опять свои шубки и были так веселы, что, взявшись за руки, несколько раз неизвестно по какому поводу перекружились на одном месте, обнялись и поцеловались, и оба с слезами на глазах стали громко смеяться. Нам, вероятно, очень нравилось то, что мы сделали, и это понятно. Детство добро и должно быть таково без всяких рассуждений, для которых настанет своя жесткая пора господства разума над сердцем.

Наш добрый ангел-хранитель был с нами и грел нас своим теплым крылом, так что мы не ощущали облегчения, произведенного в своем уборе, и, взявшись за руки, смотрели, как немцы уделали свои возы, посадили на них приодетых нами детей и отправились в дальнейший путь, пролежавший через мост и нашу деревню, которая вся, как на ладони, была видна из окон нашего веселенького сельского домика⁵.

VI

Или все это было устроено очень скоро, или наша няня на этот раз особенно долго засиделась за афимьиной печкой, только она нимало не помешала нашей проделке.

Появись к нам в то время, когда немцы уже все привели в порядок и спустились к мосту, она посмотрела на них своими подслеповатыми глазами, не заметив детей, которые теперь открыто сидели на верху возов в наших кашемировых платьях.

Другие, как я сейчас расскажу, были зорче ее, но это нимало не мешало нашему доброму делу.

Няня привела нас домой, раздела и по старческой рассеянности или потому, что, назябшись во время перехода от горки до дома, снова спешила греться на лежанке, которая была устроена в нашей детской, не заметила исчезновения наших ваточников. А мы с сестрой Талинькой преисправно молчали во все остальное время дня и не проговорились ни за вечерним чаем, ни за легким ужином, который нам подавали часа за два прежде, чем ужинали большие.

Так мы благополучно отошли ко сну, и я, задернувшись темненьким ситцевым пологом, какие были устроены над нашими кроватками, успел уже вздремнуть, как вдруг до слуха моего стали долетать слабые клики Таля.

Это меня не могло сильно встревожить, потому что Талинька в детстве была порядочная трусиха, какою, впрочем, осталась и на всю жизнь, и когда мы детьми спали с нею в одной комнате, она при каждом пробуждении имела привычку звать меня и заставлять ей откликаться, после чего тотчас же успокоивалась и засыпала.

К этого рода неважной тревоге отнес я и нынешний ее оклик и, пробурчав ей: «спи, Таля,— я не сплю», хотел уже снова обернуться на другую сторону и продолжать мои сонные мечтания, которые всегда в изобилии, роями жили у меня под пологом; но на сей раз дело этим не уладилось. Талинька продолжала звать меня и требовала, чтобы я встал, а когда я исполнил ее просьбу, то при свете горевшей в медном тазу ночной лампы увидал, что сестра, распахнув свой положок, стояла на коленочках и тихо давала мне выразительные знаки, чтобы я прислушался к происходившему в соседней комнате довольно крупному разговору, в котором я мог ясно отличать голоса матушки и Любви Анисимовны, а также и других наших людей, которые то прибегали в эту комнату, то снова из нее выбегали.

— Ищут наших платьев,— прошептала мне бедная, пугливая и робкая Талинька, держа у ротика кончики тоненьких пальчиков своих хорошеньких ручек, и была этим так встревожена, что ее плечики и руба-

шечка на груди дрожали, а глазки смотрели на меня с ужасом и отчаянием.

Нас не баловали и не потворствовали нашим капризам и прихотям, но никогда не обращались с нами жестоко и грубо, и потому я не знаю: отчего сестра так сробела при обнаруженных ею поисках, но только страх ее заразительно сообщился и мне, и я почувствовал то же внутреннее трясение и охотно желал бы успокоить сестру, что тревога ее напрасна, после чего мы оба могли бы снова юркнуть под наши одеяла.

Но, к сожалению, это было невозможно: одну секунду прислушавшись к происходившему в соседней комнате разговору, я убедился, что дело действительно идет о моем бешмете и талинькином ватошнике. Да это и не могло быть иначе.

Домовитая и аккуратная, хотя нисколько не скупая, матушка наша всякий вечер, прежде чем лечь спать, имела обыкновение осматривать все наши носильные вещи, чтобы возможный в них при употреблении беспорядок сейчас же указать исправить. Не знаю, может быть, это иным покажется мелочностью, но мне это так не кажется и всякий раз, когда я вижу на каком-нибудь ребенке разорванную петлю или мотающуюся пуговицу, я невольно припоминаю регулярный вечерний досмотр, который производила в наших вещах покойница-матушка, и нахожу ее систему превосходною. От этого на нас никогда не было дыр и больших заплата, хотя наш гардероб домашнего изготовления всегда был очень прост и скромн.

Естественно, что при этом досмотре матушка хватилась наших ватошников и что их пошли искать по всему дому, в котором пропажи были делом неслыханным. Тем более казалась всем невероятною пропажа таких вещей, как детские теплые платья, которые всегда поддевались под шубки и потом вешались на ширмы у няниной кровати.

Но как бы там ни было, а они пропали, и эта пропажа подняла разбудившую нас тревогу.

Вслушиваясь в слова матери и особенно отца, которого никогда не призывали для разбора каких бы то ни было дрызг на женскую половину, я уловил нечто такое, что мог сообразить, что главный вопрос, занимавший моих родителей, заключался не столько в пропаже наших платьев, как в том: каким образом могла произойти эта ни для кого из них не объяснимая пропажа?

Я боялся, чтобы подозрение не пало на кого-нибудь из людей, и решился признаться.

VII

С этою целию я тихо встал, перенес босую ногу через решетку моей кровати на стул, потом ступил на пол и, весь дрожа и крестясь, стал подходить к двери, за которою шел разговор и изобиловавшие восклицаниями удивления розыски.

— Не ходи, Виктор, не ходи, страшно!— шептала мне Талинька, но я ее не слушал.

— Послушай,— шептала она вслед мне,— лучше дождемся, когда все уснут и уйдем через балконные двери в сад и замерзнем. Папа говорил, что через балконные двери можно выскочить, и мы выскочим.

— А это разве не страшно мерзнуть, как мерзли те дети!— отвечал я и довольный впечатлением, какое я произвел на умолкнувшую сестру, отворил двери и остановился.

Выйдя из полутьмы, глаза мои не могли сразу освоиться с пламенем горевших здесь трех свечей, которые, очевидно, были принесены сюда каждым пришедшим лицом из разных мест и составляли нарушение правила, которого держалась матушка, не столько по суеверию, сколько по

привычке, не дозволявшая держать трех зажженных свечей в одной комнате. Но теперь эта непозволительная иллюминация ускользала от ее внимания, которое было поражено случаем невероятной пропажи, а потом <она> вдруг обратилась ко мне:

— Что ты? Зачем ты встал: здесь не твое дело, иди спать, Витя, — проговорила она, махая мне рукою, но вслед за тем, когда я бросился со всех ног к ее коленам и, обняв ее талию, громко зарыдал у нее на груди, она вдруг встрепенулась и, ударив себя в лоб ладонью, воскликнула:

— Боже мой! у меня и из головы вон, что, когда я перед вечером мотала в зале нитки, я видела как по деревне ехали какие-то люди с возами и на тех возах сидели дети в таких точно платьях, как Витин бешмет и Талинькин ваточник...

— Может ли это быть? — воскликнул отец, строго обведя глазами собравшуюся прислугу.

— Да, да; я это видела, — продолжала матушка, — я это очень хорошо видела и тогда же подумала, не они ли это взлезли на возы, но вспомнила, что на них сверху надеты шубки; а к тому же у меня тут спуталась моталка, а потом я об этом позабыла и вот только теперь вспомнила.

— Что это за люди ехали? — крикнул отец.

— Немцы какие-то, — отвечала няня.

— Догнать их, бездельников: они не могут быть далеко, — сейчас догнать их и...

Он не договорил, потому что я, оставив матушку, быстро перелетел к нему и обнял его колена.

— Чего ты хочешь, мальчик? — спросил он.

— Не посылайте догонять их, папа! О, не посылайте: если их разденут, они голые замерзнут, — проговорил я, рыдая и пряча лицо в ладони.

— А, так это вот кто устроил для немцев, — воскликнул отец и, повернувшись, вышел вон из комнаты, но матушка, прижав меня к груди, не сказала мне никакого замечания, а только велела убрать три свечи и, уложив меня в кровать, перекрестила и велела спать. Но я не мог скоро исполнить ее приказания: я очень долго не спал и все тихо плакал, сам не зная о чем, только это было не о немцах, а «так», как говорят, безотчетно.

Утром я был бледен и следы ночной тревоги были ясны на моем лице.

Отец это заметил и, догадавшись, что я плакал, сказал мне:

— У тебя, братец, видно глаза-то на очень мокром месте, что ты и о немцах плачешь. — Но матушка остановила его тихим движением головы, и, когда я потом, сидя в классной комнате, списывал из книги в тетрадь страницу из «Зеркала добродетели», мать сама пришла! звать нас к завтраку и, посмотрев в мою тетрадь, ласково погладила меня по голове и сказала:

— Все люди равны у бога, и немцы тоже люди.

Я не знаю цены этому простосердечному ее выражению, которое, может быть, иному покажется недомысленным и смешным, но оно мне бесконечно дорого. Оно всегда было для меня светочем и спасало меня от увлечений во многие минуты жизни, когда я при иных событиях колебался признавать за людей тех, кого касалось это простосердечное слово моей матери.

Тем эта история для меня и кончилась, если не считать ее последствий, заключавшихся в том, что наш «доморощенный» портной на другой же день съездил утром в Кромы и, привезя оттуда потребное количество кашемира, сшил мне из него новый бешмет, а сестре новый капот по старому фасону.

Когда мы надели эти обновы и пришли с сестрою «показаться» в них родителям и по заведенному у нас обычаю поблагодарить их, отец сказал мне:

Ефиму Федоровичу
 Зарину
 человек, которого более
 всех присных и знакомых возлюбил
 душа моя. Н. ЛЕСКОВ
 2 ноября 66 г. С. П. б.

0.47
 2. Н. Лесков 66 г. С. П. б.



Н. С. ЛЕСКОВ

Фотография Н. Досса. Петербург, 1866

На обороте дарственная надпись: «Ефиму Федоровичу Зарину, человеку, которого более всех присных и знакомых возлюбил душа моя. Н. Лесков. 2 ноября 66 г. С. П. б.»

Литературный музей, Москва

— Хорошо; но, когда захочешь опять награждать немцев, тоними уже и шубу для своих русских.

Из этого я видел, что он долго не забывал моей вины, а потом много спустя, почти через двенадцать лет, убедился, что он не только во все это время не забывал моей проделки, но даже тревожился из-за нее такими тревогами, о которых я не мог иметь и понятия.

VIII

Через двенадцать лет я был уже юноша, окончивший с успехом не только курс московского пансиона Галушки⁶, которому был вверен для воспитания, но прошел и через университетский курс и был отправлен отцом на собственный счет за границу, где должен был окончить свое образование.

Посылая меня в чужие края, отец дал мне короткое наставление:

— Береги честь с молодости, а платье снову; не трать даром денег, потому что у нас их немного, но живи прилично, чтобы немцы не думали, что у нас дворяне какие-нибудь нищие, и набирайся у умных людей ума и добрых мыслей, но не привози домой чужелюбия и к родине непочтения. Прощай!

Этим ограничивалось все наставление, которое должно было руководить меня целые два года заграничного странствования.

Матушкины внушения были еще короче: она, глотая слезы, благословила меня маленьким складнем и сказала:

— Молись всякий день богу и не ешь много картофеля, — от него живот почит.

То же самое наставление, без всяких перемен, я получал от нее в виде особых приписок при всяком письме за границу и старался, как мог, его исполнять: богу молился и картофелю не ел, если можно было есть что-нибудь другое.

Отец писал мне редко, и то коротенько прибавляя что-нибудь в письмах матери, но один раз он прибавил нечто такое, чего я не мог понять и по поводу чего должен здесь же ввести в мою летопись новое лицо, с которым связаны самые дорогие для меня представления.

Это так внезапно появляющееся, стороннее лицо есть некто Адам Львович Безбедович, с которым я встретился случайно за границею и который с тех пор на всю мою жизнь остался мне близок и дорог.

Я нахожу нужным сказать о нем здесь несколько слов.

IX

Адам Львович Безбедович был сын униатского священника из-под Пинска. Раннее детство свое он провел в приходе отца, среди болот и лесов литовского полесья, к которому чувствовал во всю остальную жизнь некоторые неопределенные симпатии. Мне кажется, что эти симпатии крылись в детской свичке его с грустною природою глубокой Литвы и в живом сострадании его печальной участи здешнего всем бедного населения. Я так думаю потому, что Адам знал наизусть из Мицкевича все превосходнейшие описания литовской природы, но не знал ни одного из его сонетов * и баллад и даже не любил самого Мицкевича. Он избегал говорить о нем, а сколько мне известно из его отрывочных выражений, считал его «большим поэтом и сентиментальным пустозвоном». Когда мы были в Париже, где в то время пребывал Мицкевич, я напомнил об этом Безбедовичу, ожидая, что он сходит на поклон к своему тезке, но он отвечал, что не видит в этом никакой надобности, что лучшее, что было в Мицкевиче, он знает, а худшего не хочет видеть.

Русские, знакомившиеся с Безбедовичем за границею, после первых расспросов о его происхождении считали его поляком, и он никогда не возражал против этого, хотя он по характеру и по складу ума всего менее мог быть назван поляком. Или если для подыскивания ему подобия покопаться в польской старине, то в нем разве можно было найти черты хорошего, «не последних часов», старожилото шляхтича.

Так как с ним придется часто встречаться в моих записках и он будет иметь много случаев весь вырисоваться в них живым, то я не буду здесь долго останавливаться над его крупным и симпатичным характером, за который его если не все любили, то все уважали.

Повторяю, что если в нем не искать сходства с шляхтичем доброго старопольского застенкового закала, который совсем вывелся к нашему времени и над Неманом и над Вислой, то он всего более подходил к типу хорошего русского человека: в нем с первого с ним знакомства можно было заметить необыкновенно ясный ум, реальность во взгляде и положительность в суждениях, в чем так жестоко отказано большинству современных поляков. Он был демократ и панславист, хотя никогда не произносил этих слов, находя их «пошлыми», вероятно, вследствие опошлившегося их значения по милости тех, которые носились с этого рода убеждениями, нимало не содержа их в своей изветренничавшейся натуре. Ему не надо было говорить, что он любит простой народ и ставит высшею заботою истинно образованного человека заботу о народном счастье и его духовной свободе; не надо было ему рассказывать и о своих симпатиях к славян-

* В автографе описка: ни одной из его сонет

ству, потому <что> все эти чувства жили в его сердце, как органические ее проявления, а не как направления. Разум его в них участвовал лишь по толику, по колику он, придя в состояние рассуждать, нашел эти чувства справедливыми и законными и решил для себя раз навсегда, что иные чувства для него невозможны. А как он всегда жил, как чувствовал, то мы будем иметь много случаев видеть, к чему ему это пригложалось.

В те самые годы, когда я потерял мой бешмет, Адам потерял нечто более серьезное, — он потерял родину в тесном значении этого слова.

Отец его со всем семейством был выслан из Литвы на житье в Саратов. Причина этой высылки по тогдашним обычаям не была объяснена семейству, но в Саратове прибывший из Литвы униатский священник считался «политическим». Это, однако, было не совсем справедливо: насколько это мог разобрать его сын, вся вина его отца заключалась в том, что он поспорил с митрополитом Симашко⁷ и не хотел присоединяться к православию, и то не по несогласию с его учением, которое признавал чистым, но по неспособности примириться с тем, что настало в православии после заключения кодекса его учения. Он хотел чего-то необычайного и совсем несбыточного: какого-то западнорусского православия, соединенного с великорусским православием на условиях в роде галликанизма⁸. Иначе он отказывался последовать за своим митрополитом в перемене церкви и, как соблазнительный с этой точки зрения человек для своих прихожан, очутился с семьею в Саратове.

Старый Безбедович так же, как и его сын, был умен, находчив и энергичен и притом имел много хороших сведений, которые делали его повсюду полезным себе и пригодным людям.

Униат Безбедович, воспитывавшийся в католических школах, был изрядный математик и хороший классик, а в русских училищах тогда еще гораздо более, чем теперь, ощущался недостаток в способных учителях по этим предметам. Саратов был в таком же положении, и местное начальство, к которому Безбедович явился с предложением своих услуг, думало, думало, да и решилось допустить его к преподаванию латинского языка и математики, сначала по найму, а потом стало ходатайствовать о зачислении его на действительную службу.

Ходатайство это было уважено, с тем, однако, чтобы старый «ксендз» не преподавал предметов, имеющих «какое-нибудь соотношение с историею и религиею». Так он и остался учителем, дослужась в этом звании до ассессорского чина, дававшего ему по тогдашним правилам права русского дворянства, и скудной пенсии, обеспечивавшей его семейство от голодной смерти.

Добавок к пенсии он зарабатывал кое-что частными уроками, которые давал, разумеется, уже по всем предметам, не исключая и религии.

Этими неусыпными трудами он воспитал не только сына Адама, но и брата его Викентия и сестру Марию, из которых первый достиг впоследствии «известных степеней»⁹ и никогда не вспоминался своим братом Адамом, как будто его и не было, а Мария, обладавшая замечательною красотою, вышла замуж за помещика Игина и была звеном, связавшим нас позже некоторою родственною связью с Безбедовичем.

Из троих детей «ксендза» самый лучший и замечательный был друг мой Адам Львович. Он был превосходный сын и любимец родителей, которые не видели от него никакого горя, но с самых детских его лет получали от него утешение и помощь, о которой он сам мне раз проговорился и весьма вкратце.

— В детстве, — говорил он, — когда мы приехали в Саратов, отец, бывало, задаст мне урок, а сам побежит в школу других учить; а я глазами урок учу, босою ногою сестрину люльку качаю, а руками матери помогаю картофель чистить, пока она комнату нашу убирает. Так и жили.

С переходом в третий класс он уже не проводил ни одних каникул дома, а ездил то к тому, то к другому провалившемуся на экзамене лентяю, подготавливать к передержкам экзаменов.

Так как в бедной семье все делало расчет, то Адам сначала ездил на уроки бесплатно, «из прокорма»; а потом, переходя в высшие классы, стал получать и вознаграждение, всегда очень скудное, но тем не менее давшее ему возможность помогать родителям.

В обыкновенное время он тоже имел уроки и еще зарабатывал кое-что, клея коробки для пастилы, которые сам носил сбывать на пастильные заводы, которых немало в городе, где преимущественно занимаются изготовлением этого продукта.

В семнадцать лет он окончил курс первым учеником и был послан на казенный счет в бывшую Московскую медико-хирургическую академию¹⁰, которую потом был послан для усовершенствования на казенный счет за границу.

Это было гораздо ранее моего отбытия из России с заветом беречь честь и платье, молиться богу и не есть картофеля!

Ко времени нашей первой встречи он уже прослушал в Париже курсы Андраля¹¹, Шомеля¹² и Труссо¹³ и очутился в Тюбингене, где он держался одного русского семейства, преподавая там по облегченному способу все науки почти совсем взрослому невежде, приговлявшемуся вскоре за сим начать блестящую светскую карьеру, а между тем вел в это время деятельную переписку с Россией об оставлении его еще на два года за границу для изучения математики и в то же время прилежно слушал лекции известных тогда богословских профессоров университета, содействовавших значению так называемой геттингенской богословской школы.

Кипучая деятельность этого человека, в соединении с удивительною настойчивостию и умением преследовать свои благородные цели, во главе которых в тогдешнее время у него стояла непостижимая жажда самых равносторонних знаний, делала его заметным между всеми русскими молодыми людьми, и его, действительно, все почти знали.

Х

Адам Львович был очень нехорош собою и неуклюж. Самое верное из сравнений, которые делали по поводу его наружности, есть то, что он был похож на здоровую, старую бабу. Он был довольно высок, изсеросмугли, рябоват, с курносым носом и маленькими, очень быстрыми и умными голубыми глазами, без бровей. Растительность у него на лице вообще была самая слабая: борода не росла вовсе, а усы пробивались, но такие редкие и бесцветные, что их словно и не было. Волосы у него были литовские, сероватые, сложение крепкое, но не столько мускулистое, сколько мясистое, и при том с такими странностями, что мясистость эта, по собственному его выражению, «расположилась не по правилам»: он был очень полон в груди, тонок и гибок в талии и опять безмерно широк в тазу. Словом: сложение женское, и он это признавал и не обижался, что все его приятели, придираясь к его фигуре и созвучиям его имени, звали его не Адам Львович, а «мадам Львович».

— А да,— говорил он,— «мадам Львович, мадам Львович!» А отчего бы это, по-вашему, я вышел такой «мадам Львович»? Мать у меня была красавица и сестра хороша, и еще есть одна поросль, которая всем взяла (так намекал он на брата, имени которого никогда не произносил), а я в отца пошел, только еще больше скурился, оттого, что я с детства очень плотно на месте сидел, да крепко над столом гнул, пока вы брыкивали.

Это кроткое замечание высказывалось самым простодушным и веселым тоном и с тою увлекающею искренностию и безобидчивостию, которые

привлекали к Безбедовичу всех добрых и хороших людей, забывавших в сношениях с ним и его бабье безобразие и его неприятный, резкий, трескучий голос, еще более увеличивавший его сходство с простонародною женщиной.

В этом трескучем, как бы сварливом голосе и в довольно ядовитой и даже злой улыбке, которая кривила бабье лицо Безбедовича, когда он начинал кого-нибудь пшиговать за какие-нибудь, по его мнению, дурные и неблагородные свойства, особенно за эгоизм, ложь и притворство, которых он ненавидел, было что-то заставлявшее иных от него сторониться и бояться его как *злого человека*. Репутация эта еще более находила себе подтверждение в том, что Безбедович был человек с выдержкой: он не любил ссор, не заводил их из-за пустяков, но где считал нужным сказать правду, так говорил ее, не рассуждая, чем это для него окончится. Прощая охотно всякую пристойную шутку и даже не обижаясь за резкое слово, сказанное в жару спора, он никогда не мирился с тем, кто сделал ему сознательную гадость, если тот чистосердечно и искренно не каялся и не давал слова исправиться.

— Это ни к чему не ведет, — говорил он, — дряни больше нечего делать, как ссориться да мириться, — я не хочу быть дрянью.

— Но это худо, — сказала я ему однажды, — это ведь не по-христиански.

— Оставьте, — ответил он нетерпеливо, — я не люблю, чтобы дергали без толку это слово. Я могу простить семь седмериц, но избегаю сношений с тем, кто меня к этому вынуждает. Вам хорошо, что вам дано такое сердце, а у меня другое, и я его должен знать и беречь, чтобы оно не делалось еще хуже.

— У вас худое сердце!

Он посмотрел на меня своими голубыми глазами, и лицо его искривилось в улыбку, после которой можно было ждать самых ядовитых замечаний; но он вдруг вздохнул, ласково усмехнулся и еще ласковее, сжав мою руку в своей сильной и теплой, пухлой руке, отвечал:

— Да, младый вьюнош, да: истинно, истинно говорю вам: у меня злое сердце; меня много, много злили и оно обозлилось; но тем больше славы тому...

— Кто умел заставить его быть добрым, — подсказал я с юношескою торопливостью, которая так поспешлива на воздание справедливости тому, кого мы начинаем любить и уважать в эту чистую пору.

Безбедович вдруг покраснел, остановился, выпустил мою руку и, сложив на груди свои руки, залился неприятным, звонким хохотом.

Я был очень сконфужен, но он не обратил на это никакого внимания или уже не хотел пожалеть меня на этот раз.

— Как! — воскликнул он, — так вы это подумали, что я приписываю что-нибудь себе и подговариваюсь, чтобы вы меня похвалили!.. О милый юноша: не слишком ли низко вы ставите меня и не высоко ли цените похвалы ваши?

— Извините, — прошептал я, растерявшись.

— Охотно и ото всего сердца, — отвечал Безбедович и вдруг обнял меня, прижал к своей груди и, весело расхохотавшись, добавил: — Знаете я вас от души полюбил.

— И я люблю вас ... давно.

— Ну, вот, уже и давно! — всего и знакомы-то без году неделя, а он уже давно меня любит. Ну да что же: не диво, быть может, встречались? А? не помните. Ну, да где помнить, когда не те были тогда, как нынче. А мы вот что: мы теперь за городом (это дело было на прогулке за Геттингеном), и я развеселел и не хочу сегодня заниматься. Хотите... тут вот версты за четыре есть харчевня... славное место... мы там отдохнем на траве: я куплю яиц и ветчины, за жарю настоящую русскую яичницу, —

знаете, глазунью. Кроме того мы спросим себе пива и все это истребим и будем здоровы. Идет?

Я, конечно, согласился, и мы пошли, нашли трактир, или, как его называл Безбедович, «харчевню», а в ней яйца, из которых Адам сжарил яичницу, и пиво, которого он, мне показалось,пил очень много, так много, что если бы не совестливость, я бы его непременно попробовал оставить, но он сам, наконец, это заметил и сказал:

— Полно мне, однако, дуть эту скверность.

— Да, в самом деле: пойдемте домой, уже совсем темно.

— Темно, — повторил он, оглянувшись вокруг, и, когда мы вышли за лесок в обратном направлении к городу, он заговорил, как будто проникая недосказанную мною ему часть замечания.

— Очень темно, и хорошо это, приятель, что темно: такая година наша — область темная, а ты еще давеча думал, что ты меня проник и похвалить вздумал за какую-то доброту. Где там ей у лихого мне быть. Я тебе, друг, по совести скажу, я очень злой человек и все инстинкты у меня злые и способностей у меня бездна самых гадостных... Если будем в жизни встречаться, то ты все это увидишь и узнаешь, а я не хочу подлецу поддаваться, вот и все...

— О ком вы говорите? — спросил я.

— Как о ком?

— О каком подлеце?

— Ну вот еще, стану я тебе рассказывать, если сам не понял. Что это, по-твоему, такое, люди-то? Это, брат, мудреная загадка, вид один, а духа разного, значит — не одно семя. Да что про это говорить: чего не хотят, то делают, и чего не любят, то и заводят: черт ими в куклы играет... Не могу, братец: не могу я этого переносить, чтобы такой подлец, который меня с детства моего через своих кукол мучил, теперь бы и мною так же распорядился, чтобы мстить им. Не хочу, вот почему я и не зол, хотя... слушай и верь мне: первая мысль у меня всегда злая, а у тебя не злая, потому я тебя и полюбил... Но чтобы силе моей что-нибудь приписывать... это ты ни-ни... и не думай. Нет силы ни у кого, кроме того, про которого я в моем сале говорить не хочу, потому что я свинопас и свиней у меня много, много, и все свињищи здоровые, да грязные, хрюкают во всю мою утробу и рылом небо скопать готовы... Так-то, брат: вот тебе и сила: приставил он меня за мою грубость пасти этих животных, и я их пасу, да... пасу. Что делать, если роль такая, — надо отыграть, и я ее играю. Вот теперь напился, — скверностью, гадостью напился, — так свинье и надо, я теперь... Стой-ка, стой!.. У, однако, взаправду как темно и буря, что ли, это поднимается?

— Да, ветерок крепнет и идут тучки.

— Ну, это моему козырю под масть: посчитайте-ка, приятель, мои деньги?

И он подал мне свое портмоне, а сам отошел шага три в сторону, снял шляпу и, став лицом против ветра, с усилием тянул в себя воздух.

Меж тем я, не зная сам для чего, лениво и неохотно пересчитал его деньги, которых оказалось что-то около десяти талеров, и возвратил ему кошелек.

— Ну, сколько?

Я сказал.

Он положил портмоне в карман и, протянув мне назад руку, проговорил:

— Прощайте.

— Отчего же мы не войдем вместе в город? — спросил я с беспокойством, так как мне казалось, что Безбедович был [немножко нетрезв.

— А оттого не пойдем вместе, — отвечал он, — что мне время моих свиной пасти. Прощайте.

И он замахал куда-то в бок, к старой каменной развалине, за которою начинались улицы, пользующиеся не совсем хорошою репутациею.

XI

Меня это удивило и, признаюсь, покорило: я от природы не любил пьяного загула и даже боялся пьяных людей. Боялся не их пьяной силы и удали, так как я вообще не из особенных трусов и силы у меня у самого достаточно; но я боялся пьяных слов и излишеств излияния, за которые всегда после приходится краснеть и слушавшему и говорившему.

Но Безбедович произвел на меня несколько иное впечатление: мне его было больше жалко, и так как, по замечанию отца, у меня «глаза были на мокром месте», то мне беспрестанно хотелось о нем заплакать. Я мысленно проводил перед собою всю его бедную радостями жизнь — семейную нищету, изгнание отца, его собственное неуклюжество, — и, сопоставляя все это с людскою грубостию и неделикатностию, представлял себе, сколько он, должно быть, встретил в жизни обидного и неприятного, вследствие чего мог обозлиться на людей, и действительно обозлился бы, если бы сам возле себя не стоял с строгим дозором. Его довольно несвязные слова задали работу моему молодому уму и воображению, и когда, придя домой, я лег в постель и, не будучи в состоянии уснуть, все продолжал думать о моем Адаме.

— Вот оно, что значит, бедность, — рассуждал я. — Я не верю этому, что он о себе говорит, будто он злой человек. Я это так понимаю, что ему хочется злиться, когда он видит неправду и угнетение, но он себе этого не позволяет, потому что он добр, и его доброта уже, конечно, выше моей потому, что она сознательная. Мне ведь ничего худого люди не сделали, и мне всегда жилось хорошо, а ему жилось трудно и скверно.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ По библейской легенде пророк Илия был вознесен на небо на огненной колеснице. При этом на землю упала его милоть (баранья или козья шкура, служившая плащом), которую поднял его ученик Елисей, ставший с тех пор тоже пророком (см.: Четвертая книга Царств, 2, 11—15).

² Вероятно, речь идет о наиболее известной книге немецкого профессора богословия Иоганна Арндта (1555—1621) — «Vier Bücher von Wahren Christentum» (1605), переведенной почти на все европейские языки.

³ *Талька* — моток пряжи; *пасмо* — часть мотка.

⁴ Лесков соединяет здесь в одно лицо двух Каменских. Генерал-фельдмаршал *Михаил Федотович* (1738—1809) был убит своим крепостным за жестокость; сын его — *Сергей Михайлович* (1776—1835), генерал от инфантерии, тоже крепостник и самодур, был владельцем театра (он же изображен в повести Герцена «Сорока-воровка»). В «Тупейном художнике» Лесков также рассказывает со слов очевидца-орловца о священниках, затравленных борзыми гр. Каменским (*Лесков*, т. 7, с. 223). Комментируя этот рассказ, Б. Я. Бухштаб предполагает, что Лесков сознательно путал хронологию Каменских (там же, с. 538), но вряд ли это было в действительности.

⁵ Эпизод с переселившимися немцами, вероятно, навеян личными воспоминаниями о детстве Лескова. В Панине, их маленьком поместье под Орлом, гуляя с младшим братом, он встретил жестоко озябших людей, на санях которых «лежал какой-то хлам, прикрытый запорошенной снегом рогожей, и оттуда раздавался жалобный писк». Набросок об этой встрече, датированный С. П. Шестериковым предположительно 1884 г., не был закончен (опубликован в кн. *Жизнь Лескова*, с. 62—65).

⁶ О «превосходном воспитании в московском пансионе Галушки» Лесков иронически упоминает и в повести «Заячий ремиз» (гл. IV, V, XVIII. — *Лесков*, т. 9, с. 509, 511, 550).

⁷ *Иосиф Семашко* (1798—1868) — церковный деятель. В 1839 г. принял активное участие в насильственном присоединении униатов к православной церкви, применяя при этом репрессивные меры по отношению к непокорным униатским священникам. В 1852 г. был назначен митрополитом Литовской и Виленской епархий. В незакончен-

ном романе Лескова «Незаметный след» он фигурирует в качестве доброжелателя отца героя, также высланного из Литвы, Льва Безбедовича (с тем же написанием: Симашко. — «Новь», 1884, № 1, с. 117).

⁸ *Галликанизм* — религиозно-политическое течение во Франции (с конца XVIII в.), защищавшее от римского папы независимость французской национальной церкви.

⁹ Намек на слова Чацкого о Молчалине: «А, впрочем, он дойдет до степеней известных» (Грибоедов. Горе от ума, д. I, явл. 6).

¹⁰ Московская медико-хирургическая академия была слита с Московским университетом в 1845 г.

¹¹ Габриель *Андраль* (1797—1876) — французский врач, читал в Парижском университете курсы гигиены и патологии; в 1839 г. был избран профессором общей патологии и терапии.

¹² Август Франсуа *Шомель* (1788—1858) — профессор медицины.

¹³ Арман *Труссо* (1801—1867) — с 1839 г. с большим успехом читал в Париже курсы терапии и фармакологии.

ПОДВИГ КУПЦА КИНАРЕЙКИНА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОРУЖЕНОСЦА ВОЕВОДЫ РЕДЕДИ

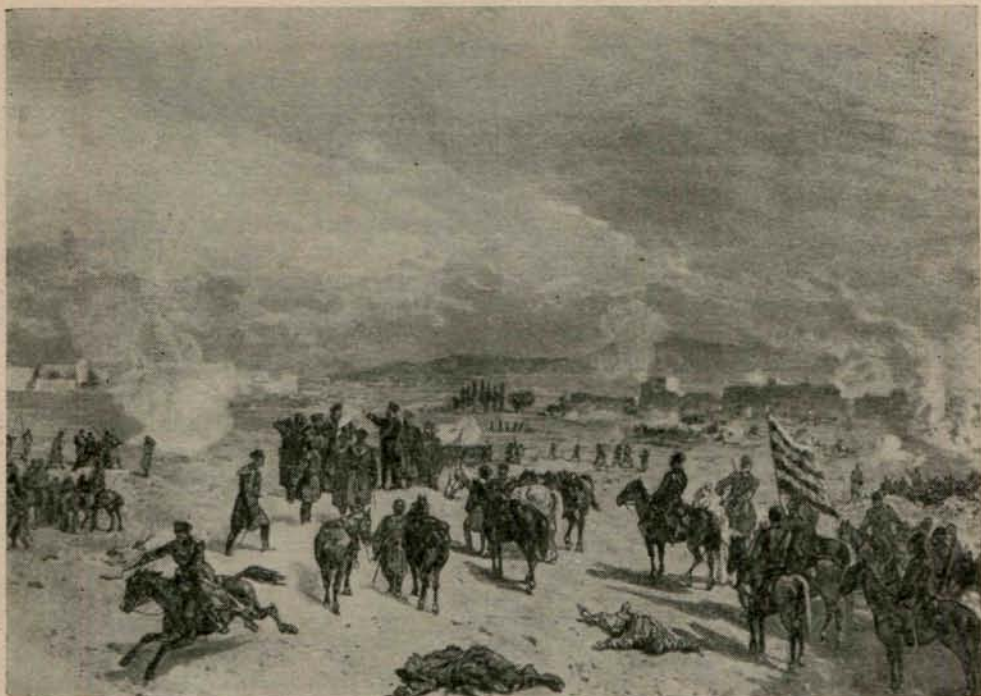
I

Случай, о котором я намереваюсь рассказать, относится к ряду эпизодов из тягостного похода русских войск в Ахал-Теке под командою генерала Скобелева. Труды и лишения, перенесенные войсками в этой экспедиции, описаны военными писателями, у которых встречается немало упоминаний о том, что затруднительный переход по знойным степям представлял ужасающие опасности для людей, страдавших от несносного жара, от недостатка воздуха и много раз подвергавшихся страху очутиться без продовольствия.

Это было, по-видимому, самое страшнейшее, и этого больше всего боялись все отрядные начальники и даже сам Скобелев. Лечь костями в пустыне всею массою людей без пищи и без питья — в самом деле представляет ужас, оковывающий воображение. Между тем бывали «моменты», когда такого рода опасность казалась военачальникам весьма возможною и статочною и вызывала с их стороны усиленную предосторожность и предусмотрительность.

Насчет виновников такого положения существовали мнения несходные: Скобелев все приписывал «гадости интендантов», т. е. их нераспорядительности, вялости и другим их «грехам», а интенданты нарекали на Скобелева, за его «безрассудную и бесчеловечную отчаянность и фантазии», которые они не считали возможным угадывать и предупреждать их так, чтобы всё и на всякий час было там, «куда он гонит».

Неудовольствие Скобелева на интендантов было обычное явление, обнаруживающееся в горячую пору усиленных передвижений больших военных масс со стороны военачальников, которые должны заботиться о продовольствии войск и не имеют времени входить в обсуждение трудностей, встречаемых заготовщиками всего, что требуется. В этих взаимных и почти всегда неизбежных неудовольствиях, собственно говоря, большею частью и те и другие бывают по-своему правы или все в свою меру не правы. Военачальничья потребность спешить и достигать желаемых результатов быстротою и неожиданностью наступлений не желает соразмерять своих планов с возможностями интендантских подвозов и подготовок, а меж тем «возможность» все-таки остается в своих пределах и в своей зависимости от времени и пространства. Но принято думать, что у нас интенданты плохи и многогрешны и во всех отношениях находятся в вине перед войсками, о продовольствии которых они должны заботиться. На них жаловались и случалось даже, что их били в отечественную войну и



М. Д. СКОБЕЛЕВ В АХАЛТЕКИНСКОМ ПОХОДЕ

18 декабря 1880 г.

Гравюра по рисунку Н. Н. Каразина

«Всемирная иллюстрация», 25 апреля 1881 г.

при осаде Крыма, и на Кавказе, и в последние экспедиции в Азии и на Балканах. Так, вероятно, это было бы и теперь, и так будет в будущем, когда «бог войны» опять «развернет свое знамя». «Учил их» из собственных рук «поэт-партизан» Денис Давыдов¹, «учили» тоже собственноручно Хрулев², князь Барятинский³ и Скобелев, но не довели их до покаяния и до той зрелости, какую желали видеть.

Скобелев, имевший в своем характере много непосредственности, отличался от ранних интендантских учителей тем, что признавал их неисправимыми и с свойственною ему решительностью делал опыты обходиться без них, при усердии простых истинно русских людей. В степных походах, сделанных под его главным начальством, случалось, что он обращался к услугам частных, не состоящих на службе заготовителей продовольствия, и войска не имели повода на это жаловаться. Между этими простыми поставщиками попадались люди очень сметливые и распорядительные, у которых все делалось скоро, и все, что нужно, было в достаточном количестве. Но, впрочем, Скобелев и сам вникал в их положение столько, сколько он, может быть, не вникал, когда дело велось при посредстве интендантов, и, когда поставщики встречали затруднение в заготовке провианта, он принимал их резоны и требовал от начальников частей большой экономии. Видами этой экономии объясняли порою его распоряжения — «чтобы не было пленных», и тогда «не брали в плен».

В числе находчивых и ловких поставщиков был один купец по имени Павел Григорьевич Кинарейкин, сделавший военный подвиг, о котором предлагается наступающий рассказ, с единственным изменением имени героя. На самом деле у купца Кинарейкина была иная фамилия.

II

Павел Григорьевич Кинарейкин происходил из небогатой купеческой семьи. Он был старовер, но из тех, которых в староверческой среде называют «вероломами». Пред водкою крестился двумя перстами, а впрочем, был со всеми в согласии: играл с православными священниками в карты, участвовал в пожертвованиях на сооружение им наперсных крестов и стоял с обнаженной головою при молебнах о победе и при панихидах по убитым, но табаку не курил и не нюхал. Восточные местности и нравы восточных людей он знал превосходно и относился к ним с презрением, как человек высшей общественной культуры. Впрочем, он презирал и запад и ненавидел его «как человек истинно русский».

Выражался он обо всех смело, решительно и с краткою ясностию: всех людей, живущих на восток от России, Кинарейкин называл «свиньями», а западных — «дрянью». Из восточных он не делал исключения ни для кого и говорил: «все без исключения — свиньи», а из западной «дряни» делал изъятие для «Жервезок». Так называл он француженок, с которыми имел знакомства в Москве и в Петербурге, и одною из них был представлен при каком-то соответственном случае Михаилу Дмитриевичу Скобелеву и весьма ему полюбился.

«Жервезок» Кинарейкин, по собственному его сознанию, «с охотой обожал и уважал и с своими Матренами ни в жизнь вровень не ставил».

Дома у него «в своем месте» была своя Матрена, с которою он был в супружестве с очень молодых лет, но «видал ее мало», и ею «не антересовался», потому что некогда, да и нечем: «Матрена как Матрена, да и все тут». Посылал ей «денежное благословение» и супружеское приказание «дом смотреть, детей беречь и родителей соблюдать». Больше от этой законной Матрены ничего не требовалось и говорить о ней больше нечего.

Кинарейкин был уверен, что «жизнь ее прекрасная».

— Исполняй, что велю, и толковать не о чем: оставлена не будет.

Сколько у него было детей и какого они возраста, Кинарейкин не говорил, да и вообще он не любил домашних воспоминаний. Как у всякого истинно русского, у него дома было хорошо — «все заспокоено и не оставлено», а он тут, где ему нужно, и «делает капитал своей собственности».

Матрене его могло угрожать только одно, если бы осуществился его план на счет того, чтобы «повернуть на запад и там всю дрянь перебить, а Жервезок к себе забрать и Матрене по шее», но до этого было далеко, да и сам Кинарейкин едва ли желал этого, потому что на востоке ему «лучше фортунило», и он переправил уже к своей Матрене изрядный «капитал собственности», который та, по его же благословию, положила на свое имя.

В степь он пришел раньше Скобелева, отбив сюда «на одно его слово» прямо от Жервезы из Кирпичного переулка. Жервеза, впрочем, тут была не при чем, только дело было в ее салоне, и дело было откровенное, честное и патристическое. Михаил Дмитриевич знал, что у него есть враги и что их даже много, и что все они «рады его в ложке воды утопить» и «подвести рады»... А тут интендантство... Все формы соблюдут, все отчетности распишут и правы будут, а дело останоят в самую минуту.

— Верно! — восклицал Кинарейкин, — верно, — и сам весь напряжился и краснел от негодования и досады.

Скобелев говорил как бы все это можно было сделать совсем проще и иначе; а Кинарейкин восклицал: «верно!» и поправлял проект еще того проще, и еще иначе.

— А кто же на это рискнет?.. кто сделает?

— А если бы я!

— Нет, верно?

— Верно!

— Я не шучу... я своим пожертвую... я пособие дам.

— И я не шучу, — только с этим дремать нельзя. Надо сейчас там быть и баранов брать, и верблюдов брать.

— Хорошо. Ступай. Обо мне не решено, но времени упускать нельзя... Мой риск: послезавтра я дам деньги, а там, если нужно более, — трать и пиши, — я все принимаю. Если пойдешь со мною, ты наживешься и я тебя не забуду... что ты хочешь: орден, звание...

— Орден.

— Все равно: почетное гражданство, орден, даже коммерции советника выпрошу.

— Нет — орден.

— Хорошо.

— Верно?

— Верно!

Кинарейкин, будучи в легком подпитии, бесцеремонно простер к генералу свою руку. Скобелев посмотрел на него, прищулив левый глаз, и подал ему свою белую, нервную руку.

Кинарейкин нагнулся, чтобы ее поцеловать, но Скобелев вырвал руку и сказал:

— Оставь, оставь, пожалуйста, эти глупости. Лучше поцелуемся.

Они обнялись и поцеловались, а хозяйка, не совсем ясно понимая в чем дело, кликнула Justine и велела ей подать холодного вина.

Кинарейкин понял и прибавил:

— Шипучки, шипучки!

— Que se que s'est «szypuczka»? — спросила хозяйка.

Генерал ей рассказал и Кинарейкин тоже, а когда Justine подала вино, так это объяснилось и на практике, и опять несколько раз повторялось слово «верно», а кончилось довольно скверно: Скобелев ушел, и хозяйка уехала, а Кинарейкин очутился в какой-то комнатке возле столовой, куда его неизвестно кто и для чего провел и незаметно оставил одного одишеченького.

III

Смеркалось по зимнему — рано... в комнате темнеет, на столе две бутылки шампанского, обе едва начатые и покрытые салфеткою... на окне кинарейка в роскошной клетке, мягкий диван и пианино... Несколько бархатных драпировок и за каждой как будто двери... Кинарейкин осязает их... царапает пальцами... Ничего не видно и не слышно.

Он зовет, — сначала потише: Мадам! мадам! мадаминька!..

Слушает.

— Ась?.. Ничего не слышно... Где они! Мадам! мадаминька!.. Да что же, вы, черти!.. Ну, так я все вино выпью.

Пьет и улыбается.

— Ей-богу, выпью!.. Слышите!.. Выходите!

Опять пьет и опять улыбается.

— Ну, черт с вами! Мне и лучше... Не выходите!

Пьет еще, а вокруг уже совсем темнеет, и какое-то беспокойство... Он переходит к пианино, ударяет по клавишам и удивляется раздавшимся нестройным звукам.

Он лучше просто споет. Он отходит к дивану, падает на него и распевает, или, лучше сказать, кричит, заплетая языком:

Скажите, Жервеза, чего вам бояться?

Вы будете в счастье и в радости жить;

Я вас обожаю, люблю, ну, признаться,

Готов за любовь мою вам заплатить.

С этим он засыпает и просыпается не скоро и очень поздно или очень рано: он видит, что на столе горит свеча и перед ним стоит татарин во фраке и докладывает ему, что извозчик дожидается, чтобы отвезти его домой...

Кинарейкин старается припомнить: где он и что ему надо с собой делать? Он и припоминает, только не все, или все, но в беспорядочной путанице. Самое ясное ему оказывается то, что было последним: тут было вино и он его пил и, может быть, не допил, он шумел, куда-то дарапался, кого-то звал. В голове мелькает водевильный куплет про Жервезу, который он черт знает от кого и когда выучил и пел всегда, когда был пьян и вспоминал о француженках, или иначе «жервезах»... Да где же все это?.. Это все совсем не тут началось, где он теперь, и где это так страшно кончается?.. Не могли же с ним поступить как-нибудь «неблагодарно»... он был в таком «хорошем обществе» и с таким лицом и говорил о патриотическом деле... С ним была значительная часть «собственности капитала»... Кинарейкин схватывается за карман и осыпает свой бумажник на месте... Достает его и раскрывает, и видит весь «капитал собственности» на лицо... Надо что-нибудь вынуть и заплатить «причитающее». Спрашивает:

— Что с меня следует?

Татарин во фраке отвечает, что ничего не следует.

— Как же ничего?

— Ничего, — все заплочено.

— Кто же заплатил?

— Генерал заплатили.

«Генерал, значит, было... Это не сон!..» — думает Кинарейкин и спрашивает: — Где же генерал?

— Не могу знать, — отвечает татарин, — я их не видал... За буфетом заплочено, а сейчас ресторан запираем... Извозчик готов... Прикажете — молодец с вами съездит.

— К черту! Не надо мне твоего молодца!

И Кинарейкин выкинул татарину трехрублевый билетик, сошел по белой мраморной лестнице, устланной красною бархатною дорожкой, придерживаясь за канат, обшитый мягким шелковым плюшем.

Он узнает улицу: это известный дорогой ресторан... Черт знает, как он сюда попал, а попал и, должно быть, сделал что-то серьезное...

Теперь, укладываясь спать, никак этого не сообразишь, но завтра или сегодня, когда поободняет, а он выспит весь чад из своей головы, он это сообразит.

Какая-то каша заварена и престранно, престранно!

IV

Настало утро, которое должно было объяснить вечер, но Кинарейкин его проспал и встал опять вечером.

Он встал с большой головой; обревизовал опять бывшую с ним вчера собственность капитала и еще раз удостоверился, что все цело и он, значит, пил и до одурения напился на чужой счет.

Он выглохтал бутылку зельтерской воды, оделся и отправился к Жервезе.

Для посещения Жервезы это был час неудобный: она, вероятно, возвратилась с прогулки и в это время она не принимает; но, если только она дома, то он ее решил побеспокоить. Он может ей заплатить за беспокойство. А, впрочем, и Жюстина за красный билет расскажет, что такое было и как он был будто в столовой, перешел в другую комнатку и вдруг как-то очутился совсем один и... потом татарин... Хорошо, что еще все так хорошо, и цел даже весь капитал собственности.

Подойдя к знакомому дому, где жила Жервеза, Кинарейкин не пошел

по парадной лестнице, по которой всходил ранее, а прошел воротами на двор, и стал осматривать и соображать ситуацию дома... Но все это очень трудно... В одних окнах есть огни и горят прямо ничем не занавешенные; в других — свет ступеван мягкими тонами занавесей, но много окон и совсем темны...

— Черт их тут разберет, откуда, куда идет и что к чему принадлежит!

Одарить рублем городского и расспросить его, — но это опасно... с таким лицом был, и не знаешь, во что вляпаешься...

Одарить лучше тремя гривенниками дворника, — не больше ли он откредет?

Вызвал, одарил, но узнал очень мало.

Вся сила в том, — говорит дворник, — что у них у всех, у французов и у французинок, своя компания и они промежду собой в таких ладах, что нам ничего не известно. Такие гости бывают, что и знать не можем — как проведут и выведут. Позвонитесь в номер — вон у них в окнах огонек спунсе *: тветной фонарь горит.

Это Кинарейкин и без него знал. Нового только, что может разобрать, где ее окно и фонарь спунсе.

Три гривенника почти даром пропали: надо идти большой дорогой и звониться.

Подошел, покашлял и позвонился, — тихо, робковато, по-юношески.

Неслышная дверная закладка откинулась, и дверь неслышно проползла и открыла переднюю в помпейском вкусе. С потолка висит и мягко светит имитированная помпейская лампочка, а перед ним живая, розовая Жюстина, с подправленными бровками и руками, засунутыми в крошечные карманчики изящного, темно-красного, шелкового передничка, а локотки навыворот.

— Входите, — шепчет, — входите!

— Никого нет?

— Входите.

Кинарейкин вступил, и дверь за ним тотчас же и так же тихо и неслышно захлопнулась, а в открытых портьерах большой комнаты, которая была в полутьме и только слабо освещалась красноватым отблеском фонарика, горевшего в алькове следовавшей за нею спальни, показалась стройная фигура Жервезы в длинном, легком капоте. Капот из мягкой материи, продольными голубыми и белыми полосами, придавал грациозной фигуре француженки необыкновенную легкость и такую летучую воздушность, что Кинарейкин, после перепоя, подался от нее назад, ибо принял ее за видение, но она его тотчас же дружески успокоила, весело назвала его «свиньєю», пошутила, как он у нее вчера «немножко напился», и сейчас же прибавила:

— Нишего, милый мой, нишего... Идиль завтра к женераль... он тебе шдать и... сипь... сипь... сюда!..

При этих последних словах она выразительно поклевала себе в открытую ладонь правой руки пальчиком левой и добавила:

— Три тиць... три тиць... непременно муа три тиць... а то я будиль все ссорить...

— Да, для чего ссорить, для чего ссорить! — живо отвечал Кинарейкин. — Если только, разумеется, все это будет, как он говорил...

— Будиль, будиль... отшего не будиль?.. Все будиль... Как он сказал, так и будиль... А теперь...

Жервеза понизила голос до шепота и закончила на ухо Кинарейкину:

— Теперь... ва... ва... мон шер... пошел вон... и завтра приди фриштик и три тиць...

* Вероятно, от французского: ропсеау (пунцовый, темно-красный).

Она его повернула за плечи к двери, через которые он вошел, а сама небожительницею скользнула, хлопая беспятными туфлями по ковру, к освещенной фонариком спальне.

V

Кинарейкин дал Жюстине «красный билет» и вышел в серьезном настроении: стало быть, ничего, что дело началось у французинки, и он напрасно робел за свои неловкости... Это, видно, делу не помешало, — дело идет. Вот какой, ей-богу, серьезный!.. Это не как другие, которые ежели поговорят, хоть и дельно, но потом вспомнят, что до компании себя допустили, и сейчас начнут устыждаться... А этот на всяком месте делает, и что наметил, в то и прет... С ним даже страшно, ей-богу... И шутит, а все всерьез. Надо завтра к нему идти... С ним не шали...

И Кинарейкин был весь озабочен завтрашним свиданием с Скобелевым и обдумывал его со всех сторон и на яву, и во сне. Что ежели это в самом деле... все так и состоится... Так возьмет, да и даст тридцать тысяч... Кажется, было говорено тридцать... на покушку баранов... Да, и Жервезка тоже счислила три тыщ... значит десять процентов срывку себе сосчитала... Шельмы!.. А доведется и ей дать... хоть не все три, а ... доведется дать кусок порядочный... Вредить может... Положим, что он не такой, чтобы... а все лучше ее убаготворить... Поторговаться надо... Ей-то «три тыщ» за что!.. за фу-фу?.. А бараны — это не фу-фу и на фу-фу их не приготовишь... Поторговаться с Жервезкой надо... Уступит!.. А ему надо все представить как должно, — честно и благородно без всякой фальши, а то на фургонном дышле повесит... Ничего, что вместе в компании у Жервезы сидели... Лик у него такой обаятельный: сейчас шутит, смеется и что твоя рубашка мягок, а вдруг глазом моргнет и засерьезнеет, на щеках этак как что будто побелеет и... шутя злой смерти предаст...

Чувствует Кинарейкин к Скобелеву «стремление души и ужастность» — и «то есть по гроб жизни для него рад, и в огонь и в воду», и тоже «не шали, брат, не шали!». Приобретай собственность капитала себе в капитал собственности, но не шали... не шали... Чтоб баран был большой, крупный, мясистый, с курдюком и чтобы было их много и везде где ни спросят... чтобы так они и шли перед отрядами войск, как стада Исавовы навстречу стадам Иаковлевым⁴... А если морьба... чох, кашель, оспа, или вертун в голове или другая какая овечья пагуба... Чем я тогда виноват? Это не мной выдумано... Везде, небось, овцы и бараны колеют и дохнут, да за это же людей не вешают... А у него это... если щеки побелеют и шабаш... Иди после, Матрена, кому знаешь, тому и жалуйся... Да кто и скажет?.. И вестей-то из степи не добьется... Так и пропал в степи... Да, если Матрена и узнает, то, пожалуй, не будет жаловаться. Где ей!.. Ведь, дура! Вопль для приличия при панихиде пустит, а потом за какого-нибудь молодого приказчика замуж пойдет и весь капитал собственности ему передаст, а евойным Кинарейкина детям только и останутся одни тыщи десятин земли, которые он, с божией помощью, закупил в «башкирском царстве»... В них, — правда, — много владения, но все еще под сомнением собственности, и доходов настоящих нет, окромя как то, что уже с казны под залог взято... Вот для чего человек живет и бьется... Господи!.. какой все прах и суета!.. А Матрены, ведь, это все дурищи — они ничему тому делу существенно не соответствуют... Им все только замуж выходить, да чай пить... А зачем, — этого они даже и не обедят. В мыслях у них никакого пламенного помышления нет, а в чувствах своих они постоянно жиром оплывши, как примодившись, и тоже никаких беспокойств не чувствуют. Поцеловаться даже, если случится, так и то все стараются на такой фасон, как будто в светлый праздник на паперти христосовавшись... Чего им надо еще, господи, боже ты наш, помилуй нас! — Жить только

в благополучии, стричь купоны на капитал своей собственности и ходить в банк с ридикулем, а ничего больше не заводи, ну так ведь нет же, не та у нас по купечеству мода... им, чтобы непременно опять новый закон принять, опять хоть за своего же приказчика, да еще один раз замуж выйти, чтобы было кому ею командовать... Прямые Матрены! Тьфу!

И Кинарейкин самому же себе перед носом на стенку и плюнул, и, придя из полудремоты в сознание, начал креститься.

VII*

— «Ужасно,— рассказывал он после несподиванной смерти Скобелева,— ужасно, что он был за вразумительный и в какое приводил воображение».

И тут он вкратце вспоминал свою незабвенную встречу с Скобелевым, и как Скобелев к нему расположился и «доверился ему больше чем тыщам людей», и как он себя оправдал и даже подвиг совершил, но до того, что сам себе не верил и сам себя не понимал, и один раз опьянел при нем совсем неизвестно от чего, а другой раз струсил и целую ночь сам с собой говорил, и детей благословлял, и видел, как будто его жена замуж за приказчика выходит.

— До того,— говорит,— явственно вижу, что она сидит перед зеркалом в одном поддевальнике, лицо все припудрено, а бюстры полотенцем через плечи прикрыты и парикмахер наш, по фамилии Щеткин, ее к венцу причесывает.

Я посмотрел ей в глаза и говорю:

— Что ж это тебе и ничего?

А она отвечает:

— А что же тут такого?— я в закон.

Я как был, так ей с того же места в бесстыжие глаза и плюнул, и хотел зеркало со стола ссадить, а Щетинина <1> с его гребенками вон, но вместо того проснулся и вижу, что я самому себе перед носом в стенку плюнул. Повернулся в другую сторону и думаю:

Что это мне! О бабьих ли мне законах в такое время надо обдумывать... К какой я особе завтра собираюсь! Я должен теперь думать об овцах — как заготовить, чтобы везде много было баранов... Вот чем надо отличиться и можно и доверие оправдать, и орден получить, и умножить капитал собственности... а степь широка без конца, а накалена как банная каменка... и идут по ней бараны со всех сторон и встречаются неизвестные люди и верхами на конях и пешком половину голые, половину в широких локутах обернуты, в руках длинные палки с крюками загнуты... А вдаль посреди степи холм из рудожелтых песков насыпан, и посреди его на вершукке стоит торчма бел-горюч камень, как на жидовском кладбище, и по нем выведены разлатые, черные письма, одно с другим не связаны, как жуки на лапках, и под этим камнем сидит покойный брат Андреян в темном халате, платком подпоясан, держит на коленях гитару и поет:

Видел я гроб моей матери,
Рахили! — нача плач с ночи:
Отче, отче Иакове!
Пролей слезу ко господу.

Поет, как бывало он певал в юности, когда мы вместе в своем месте при родительском капитале жили, и бабушка Марина Финогевна очень любила в сумерках на теплой лежанке сидеть и слушать, как Андреян поет этот стих про то, как кушцы ведут Иосифа по пустыне.

Я и говорю Андреяну:

* В рукописи в нумерации глав пропуск.

— Полно тебе: бабушка наша давно уже на том свете в царстве небесном, — что тебе вздумалось это петь?

А он отвечает:

— Это к баранам относящее. Видишь, стада Исавлевы и стада Иаковлевы.

— Ну, так что же такое?

А стадов такое множество, что уже и степи не видно, — все бараны, а Андреян говорит:

— Дела в этом нет, что их много, а придет оптовый купец, враз всех и заберет.

Думаю: про что это он говорит: какой такой оптовый купец?

А Андреян на мою думу отвечает:

— Как же ты глуп, что не знаешь: что есть оптовый купец? Это в лавке пожар, а в стаде — падеж. Он закружит одну овцу и все запершат и закружатся и не будет их...

А овцы уж и кружатся, и один рогатый такой баран прямо меня лбом бух, бух, я и слетел с кровати на пол вместе с подушкой.

Катеринбургский купец с женою рядом со мною комнату занимали — оба проснувшись, думали, что меня кто-нибудь зарезал, — и в одном белье ко мне прискочил: что случилось?

— Ничего, говорю, не случилось.

— Мы думали, что тебя кто зарезал.

— Ну вот еще — зарезал!.. Я сам зарезу... а просто спал свят, да упал с гряд, — больше ничего.

«А самому, знаете, досадно и смешно, и конфузно: забыл уже, как маленьким с кровати падал, а теперь в сорок слишком лет повалился... Вот оно как с Скобелевым-то дела заводить!»

VIII

Больше уж Кинарейкин и не лег в постель, да и не время было ему ложиться. На дворе уже было утро. У решетки сквера, окружающего памятник Екатерины, куда с высоты смотрели окна занимаемой Кинарейкиным меблированной комнаты, гасили огни, и в комнату «услужующих» слышались звонки.

Позвонил и Кинарейкин и сел пить чай, а сам все свою думу держит: «как предстать и что говорить».

«Катеринбургский сосед» пришел его навестить и узнать, как он себя чувствует «после повалившись», а Кинарейкин не в расположении шутить.

— Я, говорит, дело обдумываю.

— Так что же; ум хорошо, а два вдвое.

— Твой ум не годится.

— Что так больно важно!

— Не важно, а сам еще обнять не могу.

— К отцу Иоанну⁵ бы съездил.

— Куда это?

— В Кронштадт.

— Поди ты!

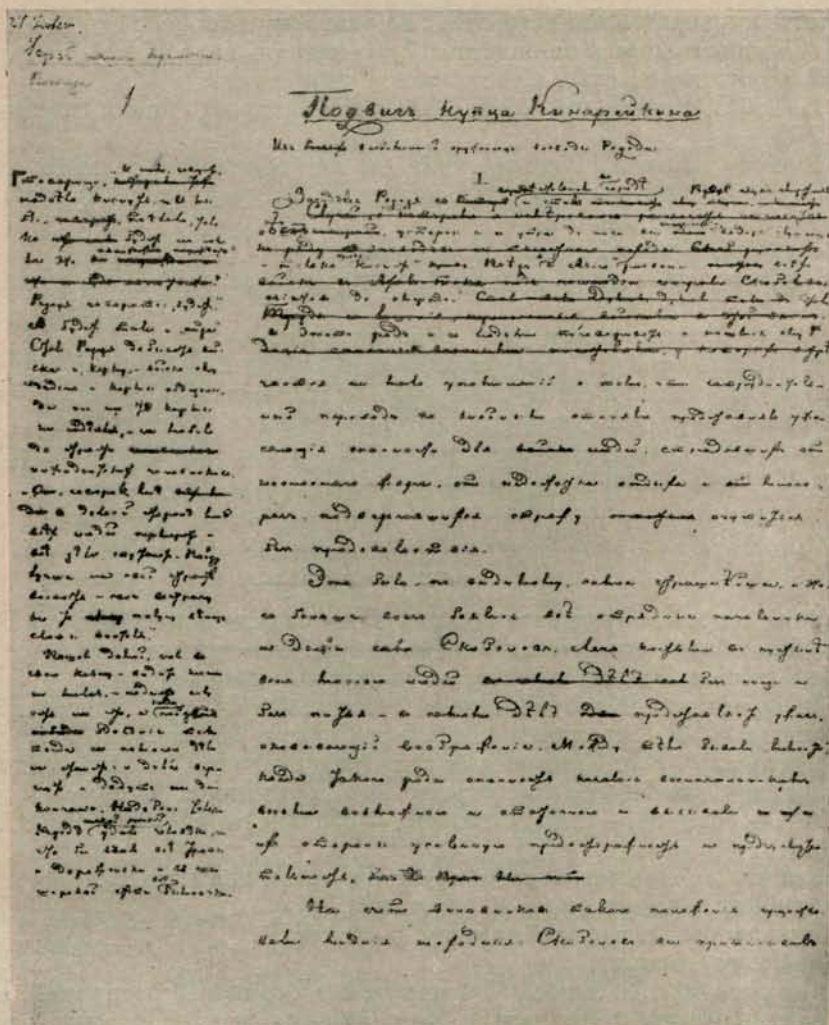
— А ты так не говори... Один вот так-то собирался, и ему говорят «съезди», а он вроде тебя...

Кинарейкин суеверно испугался, вспыхнул и громко наперебой вскрикнул:

— Да убирайся ты к черту!.. Тоже пророк выискался... предсказывать.

Катеринбургский сосед посмотрел на него и перекрестился и проговорил:

— Свят, свят, свят!



«ПОДВИГ КУЩА КИНАРЕЙКИНА»

Автограф Н. С. Лескова, конец 1880-х годов. Лист первый
 Центральный архив литературы и искусства СССР, Москва

А Кинарейкин в это время уже стоял перед зеркалом и, повязывая галстук по туго наглаженному со стеарином воротнику рубашки, рассуждал мирственнее:

— Удастся дело сделать, так и отцу Иоанну в Кронштат пошлем...
 Всему свое время... А вот ежели у кого на шее крест на ленте есть, так этих галстуков и надевать не надо.

— Все равно, как и медаль.

— Что такое?!

Тот повторил, и Кинарейкин окончательно рассердился и закричал:

— Ступай к черту.

— Что ты нынче такой сердитый!

— Да нет... как же, ей-богу, это слушать и чтобы не сердиться...

— Какая же обида...

— Такая обида, что разве можно орден с медалью сравнить. Медаль,

вон, нынче курьерам в министерствах за разноску портфелей выдают, а орден какой ни есть дается за подвиг... Это отличать надо... А ты не сердись и давай ручку на счастье. Счастливая у тебя рука?

— Не знаю, а вот у жены примечают будто страсть какая счастливая.

— Ой!

— Ей-богу, правда. Родные, куда бы не собираться на дело, всегда приходят к ней на счастье руку потрясти. У нее сколько колец за это с супирами от счастливого!

— Зови ее, братец, сюда, зови, зови!

Купец постучал в дверь и позвал жену, но та отвечала, что она не убравшись.

— Павлу Григорьевичу руку надо на счастье.

— Ну, пусть войдет, я ему через занавеску дам, — отвечала купчиха.

Кинарейкин зашел к соседу, подержался на счастье за протянутую ему из-за занавески неумытую руку катеринбургской купчихи, и сказал:

— Вот так парная, прямо с постельки. Эта должна посчастливить, — и отправился на Моховую к Скобелеву.

IX

«Парная с постельки» ручка соседки в самом деле посчастливила Кинарейкину и вдобавок еще посчастливила так легко и чудесно, что и все придуманные за ночь ответы и разговоры никуда не понадобились.

Скобелев принял Кинарейкина «в родительском доме», где он об эту пору помещался, и весь прием совершился сразу, без всяких формальностей и дожиданий. Как Кинарейкин пришел и сказался, так его сейчас же и провели, и «белый генерал» встретил его, руку подал и прямо к делу:

— Вот, — говорит, — деньги готовы, — столько-то тысяч и чтобы были бараны...

Деньги же в башлыке в узел крест на крест перевязаны.

Кинарейкин принял узел и отвечает:

— Слушаю-сь, позвольте напишу расписку.

А Скобелев говорит:

— Мне расписки не надо... Что мне делать <с> вашей распиской, а мне чтобы бараны были... Но деньги поверить можете. Вон идите рядом в комнату и считайте.

Вышел Кинарейкин в уборную, развязал башлык, — деньги так пачками и посыпались. Все обтянуто бумажной полоскою с надписью по пяти тысяч пачка... Уйма денег!

Проверил Кинарейкин одну, две пачки, какие попали под руку, а больше и поверять не стал.

Выходит опять в кабинет и говорит:

— Все верно, — столько-то тысяч.

— Довольно это?

— Помилуйте, — отвечает Кинарейкин, — как же не довольно!

— А если понадобится — напишите: я еще пришло. Теперь больше не могу, но через несколько времени... найду... но чтоб бараны были готовы.

— Боже мой... ваше высокопревосходительство... все меры...

— Нет, — бараны чтобы непременно были.

— Будут.

— Вот это так. Расчет после и награды впереди.

Тут Кинарейкину опять блеснул орден перед глазами, и он невольно согнулся в благодарственную позу и спросил:

— Как же, ваше высокопревосходительство, — есть ли надежды?

— На что это?

— Что вы изволите туда последовать?

— Не знаю еще, не знаю, но бараны чтоб были. Когда можете выехать?

— На сих же днях.

— Прекрасно. Перед отъездом зайдите проститься. Здесь в доме всегда можете узнать, где я. Прощайте.

Подав руку и выпроводив с «уймою», и ни расписки, ни квитанции, ни свидетелей при получении...

Кинарейкин языком щелкнул и проговорил в себя:

— Вот так человечество!.. С этим не шути, да и не дреми... Страшной какой фантазии... Обмануть его теперь... то ишь сколько угодно, но, ну его к черту... Что-нибудь знает, как может ограничить. Пока положу деньги в банк.

Понес и положил, — оставил только в башлыке на размывку пятнадцать тысяч, и прямо на Петербургскую сторону к Спасителю, — свеча рубль; потом домой — опростать башлык и «в comodo»... отложил только три тысячи и те разложил по пятисот рублей во всю одежду, по разным карманам, а две пачки спустил за голенище, и поехал к Жервезе.

«Катеринбургская соседка» встретила его в коридоре, когда он запирал свою комнату, и спросила:

— Счастливо ли пофортунило?

— Хорошо, — отвечал Кинарейкин, — хорошо, и поедем в коляске в Зоологию и баста.

Х

Жервеза его ждала и, может быть, даже беспокоилась, и она этого от него даже не скрывала.

Несмотря на довольно раннюю для ее образа жизни пору, она была уже вставши и, чуть Жюстина в широком убиральном переднике с пуховой в руке открыла Кинарейкину дверь, как Жервеза его встретила в мягком плюсовом капоте на белом фуляре и смеясь заговорила:

— А мошень, мошень, — и полезла рукою в грудной карман сюртука и вынула оттуда пачку.

Кинарейкин этому не сопротивлялся, он говорил:

— Бери, бери, клюй!

Но Жервеза развернула пачку, сосчитала деньги и, насчитав всего одну тысячу, вскричала:

— А где еще две тиць?

Кинарейкин сел и притворился будто не слышит, но Жервезу нельзя было этим остановить:

— Еще две тиць! еще две тиць! — требовала она, стоя над ним и шутя, но настойчиво угрожая кулаком над его головою.

— Полно, ну полно, ну полно! — отмахиваясь, стараясь казаться спокойным, Кинарейкин и не заметил, как француженка в это время ловко выхватила у него еще пятисотенную пачку, выдвинувшуюся из-за жилета, — и сама расхохоталась.

— Фу, какое охальство! — сказал он, не очень рассердясь, потому что этой пачкою он и сам предполагал пожертвовать.

А француженка отвечала:

— Нет, не я «фу», а ты «фу», какой мошень... За шего ты меня оmani? Давай еще тиць и польтиць... Давай, мошень, давай!

И она было опять хотела его осязать, но тут он не стерпел, — в нем поднялся родной дух, и он ее толкнул... толкнул на свое горе, потому что она взбесилась, швырнула в него вазой с камина и велела Жюстине «послать за полис».

— Полиция на самом первом же шагу... и это непременно дойдет до Скобелева!.. Нет, это невозможно.

Кинарейкин понял, что имеет дело с женщиною, не менее его деловитую, и пошел на сдачу.

— Хорошо, — заговорил он, — хорошо! Я виноват... ну, что же сделать... я виноват... Прошу прощенья...

— Тишь и пультить!

— Постой же... ну позволь ручку... для чего скандал...

— Ваза разбилась... это два сти рублей.

— Ну хорошо... ну постой... Вазу сама разбила...

— Ты мужик... дурак...

— Ну хорошо, — ну я мужик, дурак, а ты иностранка. Я плачу за вазу двести рублей... Я принесу.

— Нет, сейчас: у тебя деньги есть... тишь и пультить и две сти рублей... ça fait... тишь семсот рубль...

— Ну позвольте, да это что же... это хуже разбоя... Я плачу двести рублей, плачу, но за что еще... Ну, мамочка же моя, ну, голубчик, я на коленях прошу...

И он стал на колени и через плечо Жервезы взглянул умоляюще и подговаривающе на Жюстину, которая во все это время сначала меда, а потом стояла тут же, опершись подбородком на руки, положенные на палку половой щетки, и спокойно наблюдала все происходившее между гостем и ее госпожою.

Жюстина, которая жила в России дольше Жервезы и имела более, чем она, верные понятия о порядках русского городского благоустройства, дала тон к примирению сторон. С Кинарейкина взяли еще «пультить» и еще что-то за вазу и еще он хотел дать десять рублей Жюстине, но с него взяли более, так что из всего размещенного по карманам он сберег себе только триста рублей, и все деньги, спрятанные за голенища. Это составило ему чистую экономию, и он был очень рад и счастлив.

Выкатившись от Жервезы, он сейчас же вернулся домой и сосчитал уцелевшие деньги. Их было тысяча триста рублей. Из них он тысячу двести запер в комод; за пятнадцать рублей купил на рынке у Морулина золотое колечко с алмазтином соседке, дававшей ему руку на счастье, двадцать пять послал отцу Иоанну «на молитвы», а шестьдесят вечером пропил в Зоологии с соседями, которых там и бросил, исчезнув с какими-то встречными незнакомками инославных исповеданий.

Это был последний трезвон, который задал Кинарейкин, и затем принялся за дело.

XI

Отыскавшись через три дня в свои меблированные комнаты, Кинарейкин сейчас же вынул себе из комода перемену чистого белья, сбегал в баню. Оттуда он возвратился чист, как в первый день создания, проспал без просыпа целые сутки, а потом рассчитался втихомолку с хозяйкою и уехал неизвестно куда, что по коммерчески называется «на вынтараты».

У торговых людей того сорта, к какому принадлежал Кинарейкин, не только не все делается вявья, на очевидность, но, напротив, почти ничто не предпринимается так, чтобы о том знали посторонние люди, а, напротив, все зреет и совершается в великой коммерческой тайности. Весь план предприятия обдумывается и ведется одной головой, которая все ведает, да и та часто всего вполне не ведает, а имеет только дух и отвагу. В помощники же и исполнители берутся люди отчаянные и репутаций самых темных, от которых требуется,

Чтоб мог бы лгать и притворяться,

Чтоб мог бы черта провести,

Чтоб мог бы из петли сорваться,—

Ужом иль жабой проползти.



КАРТИНА И. Е. РЕПИНА «НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ СМЕРТИ ТРЕХ НЕВИННО ОСУЖДЕННЫХ»

Масло, 1888

Русский музей, Ленинград

Это четверостишие из лубочной поэмы и знал Кинарейкин, и, почитая его высшим из всех произведений поэзии, подбирал себе таких людей на свои предприятия, после окончания которых бросал их где попало, но не терял из вида и при случае находил их снова и пускал в дело, никогда не открывая им всей широты своих планов, а только поручая им одно «предлежащее». Таковы были у него два замечательные помощника Фаптея и Макура. Фаптея был расстриженный дьякон, настоящее имя которого в житейском обиходе было никому не известно. Он давно прошел огонь и воду и все медные трубы. Духовного в нем не осталось ничего, кроме невообразимой телесной мощи и здоровья. Росту он был огромного, лупоглаз, лицом синебагров и губаст, как сочный гриб подосинник, — выражения никакого, или, пожалуй, лицо его выражало постоянство и равнодушие ко всему на свете. С него будто писан палач на известной картине Репина, изображающей, как св. Николай останавливает казнь⁶. Фаптея видел много на своем веку и не говорил ни о чем. Прошрое его неисследимо, как морская пучина. Цветущею полосой его жизни было то время, когда он «по извержении сана» попался где-то на глаза знаменитому в своем роде князю Юрию Голицыну, или в просторечии «Юрке», — первообразователю «русского хора»⁷, в котором было несколько расстриг и в числе их Фаптея. Здесь ему суждено было удивлять свою и заграничную публику его поразительною октавою. Особенно он поражал слушателей при исполнении песни, которая называлась «Фаптея».

Пелась она так:

Баба рака купила
Три полушки дала,
Тут и юпка была,
Фаптея! Фаптея!

Слова «Фаптея, Фаптея» составляли *gegraine*, или припев к куплетам песни, и их-то «делал» Фаптея своею октавою «враскат», и так бесподобно и знаменито, что сам от этого прозвался Фаптею. С тех еще давних и блестящих дней его жизни и деятельности «Фаптея» стало его именем и фамилиею. «Князь Юрка» им дорожил и не раз сам снимал с него один сапог, чтобы он вытрезвился и не ушел из дома перед началом концерта. Фаптея в этом Юрке не противоречил и, по собственным его словам, «давался скидать сапог». Если требуется сказать, любил ли Фаптея кого-нибудь и что-нибудь на свете, то он, вероятно, любил князя Юрку и водку, но их лишался с замечательным равнодушием. Узнав о смерти Голицына, он сказал: «все умрем», а водки мог выпить в день четвертную бутылку и мог не пить ее вовсе, и не тосковал о ней, как пьяницы, хотя мог пропитаться, как самый настоящий пьяница. Титул этот он, однако, отвергал, но не по обидчивости, а для того, чтобы установить настоящее о себе понятие. Равнодушный ко всем мнениям, он это одно поправлял и говорил:

— Не ключим об аки пианица,— емь бо аз бражник.

Он, действительно, любил *бражничество*, то есть сидение за вином и угощение самого себя и других. В таком духе он <...> пропаявал на людях все, что имел для пропоя, и мог, нимало не стесняясь, пропивать с кем угодно чужое,— все равно, каким бы путем это ни было нажито.

— Пию, бо емь бражник.

А когда нечего было пить, он сидел молча, а если спрашивали его:

— Отчего не выпьешь?

Он отвечал:

— Не пию, бо вина не имею.

Терпение его и выносливость были невероятны: он мог чрезвычайно долго оставаться без пищи и без питья и не обнаруживать при этом ни упадка сил, ни страдания. Это с ним было два раза,— раз, когда он сбился с дороги в полестье и шесть дней не находил человеческого жилища, и второй раз, когда князь Юрка запер его для вытрезвления в каменный подвал за железною дверью, а сам поехал в Пензу на ярмарку на один день и пропутался там с друзьями целую неделю. Возвратясь домой и увидав у себя в столе огромный ключ от подвальной железной двери, князь Юрка вспомнил о Фаптее и похолодел от страха. Он был уверен, что Фаптея умер в сыром и холодном подвале голодною смертью и насилу мог отпереть замок трепещущими от ужаса руками, но едва он открыл тяжелую дверь, как у самого ее порога увидал стоящего Фаптею, с весьма мало изменившимся лицом.

Они с радостно обнялись и расцеловались, а через час Фаптея, выпивши штоф и позавтракав, явился на спевку реветь октавою,— и все это сошло с рук, точно ничего вредного и опасного не было.

Это был настоящий степной человек, бесценный для того дела и для тех подвигов, которые надо было совершить Кинарейкину, и он в первую голову вспомнил о Фаптее и получил его из какого-то кабака, у которого Фаптея продавал мужикам калачи в Уфе или в Оренбурге.

XII

Второй был Макура — тоже известный только под этою кличкою, данною ему за его крошечные и закрытые морщенными веками глаза. Он смотрел ими, «как слепая макура», но на самом деле Макура не только не

был слеп или близорук, но, напротив, отличался чрезвычайною дальностью зрения. Его маленькие глазки сверкали, как у ящерицы, и он видел все и во все стороны. Рода он был неизвестного, — может быть, еврей, может быть, армянин, а, может быть, и из кавказских горцев. Прошлое его совсем не известно, светлой полосы — даже и такой, какая была у Фаптея при князе Юрке, — у Макуры не обозначалось. По виду его можно было сказать, что это «гражданин вселенной». Где у него был какой-нибудь род и куда он был приписан — это неизвестно, как неизвестно и то, — в каких он бывал делах, но в делах он бывал и носил на своем темном, почти оливковом лице следы каких-то загадочных орудийных поранений. Это были не то шрамы, не то уколы, или обжоги, а, может быть, и вытравные знаки какого-нибудь штемцелования. Приветал Макура вокруг Астрахани, в рыбных ватагах, иногда тянул бичеву, но больше всего исчезал, отлучаясь куда-то внезапно и порою на целые годы, и потом опять так же внезапно появлялся, никогда ничего никому не объясняя, где был и зачем воротился.

Макура был такой же пропащий человек, как и Фаптея, с тою разницею, что Фаптея был бражник и только исполнитель, не имеющий никакой собственной инициативы, а Макура был всегда трезв, он никогда вина не пил, сердцем был сух и безжизнен, но умом очень сметлив и предприимчив. Умел делать множество вещей — варил астраханскую уху и турецкий кофе, жарил шашлык, чинил обувь и платье и намечал пути в степях по расположению звезд, а также мог сделать печать, двугривенный и что-то похожее на ассигнацию.

Это были при Кинарейкине два первозванца, с которыми он пошел заглядывать за пояс целое интендантское учреждение среди опаленных и безводных степей. Другие люди, подобранные в подбавку к Фаптею и Макуре, были не замечательны и все ниже и мельче этих всеми качествами. Было три персюка с мрачными, унылыми лицами, беглый мужик-забулдыга с испуганными выпуклыми глазами и портной, который так и назывался «портной», но ничего не шил и сам был в одних лохмотьях. Все это, можно сказать, была сплошная и настоящая сволочь, но Кинарейкин придал ей смысл и значение и образовал из нее «пастырей».

Где и как он с ними «поправлялся» и «обращался» — этого перо мое изобразить не в силах, но дело было совершенно с невероятною быстротою и точностью.

Несмотря на то что Победитель еще ускорил стопы своих отрядов против высказанных в Петербурге предположений и двигал большой передовой отряд, как все думали, будто на гибель — в безлюдную степь, где еще не успела побывать даже передовая интендантская крыса, — перед передними лицами этого отряда в степи вставали радостные картины встреч во вкусе библейских картин Доре. Дневные переходы по случаю страшного зноя были невозможны: усталые и изнемогшие полки только ночами подвигались к унылой, безводной полосе песка и бездождия... Дух упал у всех, — впереди чуялась самая мучительная из всех смертей, — смерть измором в раскаленной степи. Ноги едва волоклись, повинуюсь воле, — хотелось бы упасть на песок и умереть... Но, а если не умрешь, а очнешься... придешь в себя и еще сильнее будешь томиться жаждой... Какие душу объемлют ужасы и усталые ноги опять кое-как тянутся и плетутся, таща изнуренное тело, для которого тяжело все — особенно ранец с его поклажей и манеркой... И голова горит, люди, если не спят, то дремлют на ходу; воображение рисует то картины из минувших дней, перенося людей на улицы родных сел, где качаются пьяные тени, пищит гармоника и поют веселые, хотя и нескладные голоса — делят разорванный сарафан... Оживленная картина...

Кому клин, кому стан,
 Кому целый сарафан...
 Ох, вы, да бабы!
 Бабы молодые! бабы удалые!

А на самом деле удалых баб здесь нет, — они далеко эти «молодые бабы», у которых распускаются сарафаны, а тут глухая тьма... степь... всеми вперед проклятая степь, которую все ненавидят, как свою «обреченную могилу»... И ко всему этому тут еще в этой тьме невиданный дома зверь — «смертоносная тигра»... Только человек отстань — и приляжь — тигра его сейчас и растерзает. Тревожный и изощренный глаз усталых солдат так и зрит тигру... Она или не она, то что-нибудь другое из этой темноты должно появиться. И ожидание сбывается, — что-то появляется.

XIII

Вырастает библейская картина в жанре Доре.

Едва голова изнемогающего военного отряда достигла положенного предела первого перехода, как из предрассветной тьмы навстречу ей стало вырезаться какое-то видение: стоит конный витязь...

Его окликнули:

— Кто ты?

— Свой, — отвечает по-русски, и смело, — даже как бы с грубостью.

Офицер приказал «взять его и доложить генералу».

Он не трогается — верхом сидит. Лошадь под ним чудесная, серая, горбоносая и сам не то витязь, не то будто удалой торговый гость.

Подходят к нему унтер-офицер и два рядовых и говорят: подай ружье! — а он не шевелится и отвечает:

— Полно врать, — не рутьесья. Подайте вот это письмо своему генералу — от старшего.

Что за старший? Кого он разумеет?

Солдаты его, однако, не тронули, а взяли конвертик, — весь измятый. А в это время рассвет еще прибавился и стало видно, что за витязем шагах в двадцати стоит еще верховой в большой папке, а за этим подальше еще один, а за тем уже что-то, как кустарник, темнеет, и чем дальше, тем все выше, и, наконец, как лес, стоит, и верхушки по временам движутся.

Люди присмотрелись и видят, что перед ними стадо овец, за овцами еще большее стадо верблюдов, и никакого неприятельского войска нет, — только те три вершника с неприятным витязем во главе, да по окраинам стада пять-шесть пастухов-оборванцев с большими палками.

Пошли отрядному командиру доложить и конвертик ему понесли, а отрядный командир был человек прекрасной души и очень спокойный, и ко всему относился равнодушно: придем, куда идем — так хорошо, а если не дойдем, и тут в степи от голода, жажды и усталости передохнем, и то ему ничего. Был он католик, польского происхождения и фаталист, слепо верил в судьбу и имел влечение сильно напиваться, и тогда делался еще более ко всему равнодушен. Но человек был справедливый, сострадательный и благородный.

В эту ночь, когда произошла описанная встреча, он с вечера был очень пьян, и это ему помогло сохранить спокойствие в виду ужасного состояния людей, изнемогавших от усталости и еще более от отчаяния, что завтра их опять ожидают такие же муки и, может быть, голодная смерть с мучительною жаждою, потому что никакой провизии при отряде уже не было.

Как ему подали конверт — он его распечатал и говорит:

— Вот все и миновало: это Тишка <1> Кинарейкин. Он нас встретил во-

время, где ему приказано. Я говорил, что не надо беспокоиться... Привести его ко мне.

Пошли за Кинарейкиным (это был он) и говорят:

— Генерал тебя зовет!

А он отвечает:

— Меня не зовут, а просят. Того, который меня может звать, нет здесь.

И не слез с коня, а поехал за провожатым и предстал генералу нахально, — чуть шапку приподнял и не здоровуясь.

— Привел, — говорит, — вам живого продовольствия, овец и верблюдов, — всего в достаче, но только прошу, ваше превосходительство, — велите экономить.

Генералу это не понравилось, и он сухо отвечал:

— Вы свое дело сделали, а не в свое не мешайтесь: как мы будем экономить — это не ваше дело.

— Да, — отвечает Кинарейкин, — разумеется, я не за свое отвечать не буду, а предупредить должен, что впереди мяса достать негде будет, а верблюдов я везде скупил и отовсюду на три пути по местам согнал. Тут со мной пастухи, которые с ними знают обращаться и седлать умеют — давайте мне сейчас офицеров и солдат, мы их обучать станем, как вьючить и как садиться.

Генерал хотел ему опять так ответить, чтобы остановить его смелость и отстранить его от руководящей роли, но одумался, что, ведь, в самом деле, люди в его отряде с верблюдами обращаться не умеют, и воздержался.

— Хорошо, — говорит, — я распоряджусь.

— Да, прошу распорядиться, а то они, неумевши, враз им все горбы изотрут и придется всем пропадать. Ну только, ваше превосходительство, нельзя ли сейчас поскорее, а то мне здесь с вами недосуг короводиться, я должен к другому отряду отъехать, да пастухов у меня нет излишних. Я своих отсюда заберу, а вам только малость для примера оставлю.

Держится этаким главнокомандующим, да и баста, и себя только ровень с главным воеводою ставит, а до отрядного генерала только лишь снисходить соизволяет.

Генерал, со своим ему всегдашним спокойствием, посмотрел на Кинарейкина, отвернулся и плюнул, и говорит адъютанту:

— Экая сволочь!.. Скажите ему, чтобы убирался в свое место к верблюдам. Распоряжение будет сделано.

XIV

Адъютант отправил Кинарейкина, а генерал сделал совет, по полкам выбрали смышленных людей и пошли баранов и верблюдов принимать. Пошли жирные щи с бараниной и пашлык, а при приеме дело обошлось не без споров: все никак не могут пересчитать животин голова в голову, — все будто не то число выходит. Как офицеры и солдаты ни считают — все у них не верно выходит против показанного, а Кинарейкин сам и не показывается, лежит в своей палатке и чай пьет.

Рассердились офицеры и посылают сказать ему, что — «не верно».

Он в ответ приказывает сказать: «верно!»

— Да что он... черт его возьми, с нами через других перекоряется, — пусть сам выйдет!

Идет к нему вестовой и передает это, чтобы он вышел, а Кинарейкин отвечает:

— Нужды не имею, — у меня там молодцы есть, а я отдыхать хочу.

Один молодой полковник говорит:

— Что это за наглец такой! Я войду в палатку и за вихор его выведу.

Кинарейкину передали.

Он поправился, лежа головой на седле, и проговорил:

— Наконец, один нашелся, — пусть-ка придет и выведет.

Полковник покраснел и отозвался:

— Много слишком, мерзавец, на личное к нему расположение надеется.

— Зазнался купчина!

— Препротивное животное!

— Шельмованные поздри!

Поддержали другие приемщики и все, в одном всем им общем и вполне понятном негодовании, положили подождать случая, когда он как-нибудь появится среди офицеров и тогда его «вздуть».

Услыдав это, молчаливый Фаптея пошел в ставку к хозяину и говорит:

— Вздуть тебя собираются.

А Кинарейкин отвечал: Это они похваляются, — и сам сейчас встал, надел на опашку чекмень и пошел за палатку.

— Тебя проводить, что ль? — спросил, глядя ему вслед, Фаптея.

— Ну вот еще, какого хрена! — отвечал Кинарейкин и вышел.

Стал на место и велел пастухам прогонять верблюдов, а того, что о нем офицеры говорят, будто и не слышит. Сам считает, и офицеры считают, и насчитали в этот раз лишнее.

Кинарейкин говорит:

— Вы счету не знаете. По-моему, все верно, а, если, по-вашему, лишнее есть, — владейте: мне для отечества не жалко. Прошу теперь ко мне в палаточку — поводок смочить.

Офицеры к нему не пошли.

Ужасно он всем не нравился своим лицом и своею наглостию. Сказали ему:

— Явитесь в штаб для получения квитанции.

А он отвечает, что ему «квитанция не нужна».

— Мне, — говорит, — збранный воевода на мое слово верит, а выходите скорее — я с пастухами обучим вас верблюдов выкочить и на них садиться, а то я с своими офицерами выступлю, чтобы впереди вас встретить, когда вы этих баранов поедите, а верблюдов покалечите.

Волею-неволею пришлось его слушаться и по его словам делать, потому что с верблюдами нужна сноровка, а солдаты ее не знали, — ни седлать, ни садиться не умели: как верблюд с коленей на задние копыта встанет — солдаты летят вниз наперед, а станет верблюд на передние копыта, — солдаты назад запрокидываются и седла сдвигают.

Кинарейкин их учит-учит, да и под бока толкает.

Ему говорят:

— Послушайте, — вы не очень энергично... Оставьте так распоряжаться.

Отвечает:

— Ну, сами распоряжайтесь, вы им на первом же перевезде горбы до хребта протрете.

Посажали к вечеру солдат — весь отряд по два человека на верблюда, и генерал <со> своими штабными их осматривает, и Кинарейкин осматривает, а лошадь под ним, серый карабах, такая прекрасная, что такой нет ни под одним из военачальников, и сбруя арабская, вся не шитая, а вязаная, легкая и в кистях, и в седле жильный легкий орчак поверху с бирюзой и под чернедью. И сидит сам Кинарейкин в седле лихо и спокойно, а одет щегольски и удобно — рубаха канаусовая, красная, чекмень длинный, белый, — шашка, пистолет, папаха и плеточка — все знатоцкое, и что скажет, то все сбывается. На первом же переходе солдаты враз половину верблюдов перекалечили. Утром сошли и стали расседлывать, а смотрят под седлами раны... Вечером начали седлать, а верблюды визжат и не даются от боли... Опять ночь шли, а к утру раны у вер-



Н. С. Лесков, в 1885 г., через
25 лет литературной работы.
Александр Николаевич Якоби
Л. С.

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЛЕСКОВЪ
СЪЮЗНИКЪМЪ 27 21 1

Н. С. ЛЕСКОВ

Фотография. Петербург, 1885

На обороте дарственная надпись: «Никл. Лесков, в 1885 году, через 25 лет литературной работы. Александре Николаевне Якоби. Н. Лесков»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

блюдов сделались еще больше, а к вечеру в них синева пошла — значит скоро клюнет червь. Седлать ввечеру стало еще труднее, пять, шесть штук бросили, — два верблюда ушли как бешеные, остальных кое-как с бойлом оседлали и пошли, а на третье утро под всеми почти седлами в горбах черви зашевелились и пошел смрад...

Кинарейкин выехал с дерзостью и говорит генералу:

— Эта экономия, ваше превосходительство, не годится: так нам из всей Азии верблюдов согнать, так и то не достанет.

Генерал видит, что дело плохо, и волею-неволею терпеливо стал его слушать и даже спрашивать его совета: что ж теперь делать?

Кинарейкин говорит:

— Надо стараться.

— Как стараться?.. В чем это — в каком смысле вы понимаете старание?

Кинарейкин отвечает, что он всего вдруг при всех на ветру и под солнцем об этом говорить не может. Генерал его попросил зайти в палатку, чтобы наедине поговорить, и разговор их кончился дружно: Кинарейкин вышел из ставки с рылом красней бурака, а генерал и совсем не вышел.

Офицерам было довольно противно узнать об этом сближении и многие ворчали, а другие сушили, некоторые же опять сбирались при случае вздуть Кинарейкина, но он будто услышал и с этого становища как-то незримо куда-то заваялся, не то вперед, не то в сторону, а войска опять шли ночь и утром вышел приказ — не расседлывать верблюдов и идти днем далее. Думали, что генерал с ума сошел, но повиновались ему и все продолжали двигаться вперед. Солдаты сидели по два и по три на одном верблюде и колотили их, что есть силы. Верблюды один за одним так и падали. Их бросали и шли далее, отягощая оставшихся живых верблюдов до

безмерности. Чем дальше, тем было страшнее — одно животное валилось за другим, и весь путь был усеян их телами, вокруг которых снизу рыскали волки, а сверху реяли хищные птицы. Идет отряд и валится, и так весь день до вечера падали, а вечером, в сумерки, опять видение в роде того, какое было при первой встрече с Кинарейкиным: встречается новый табун верблюдов и впереди их на своем лихом коне сам Кинарейкин.

— Не робей, братцы! — кричит: — я вас спасу.

XV

Сделалась общая радость. В самом деле он ведь спас отряд и дал возможность произвести необыкновенно быстрое движение к цели. Истерзанные верблюды первого стада все равно погибли бы, и он хорошо сделал, что научил генерала гнать их, издыхающих, до последней мочи, но генерал немало рисковал, поверив Кинарейкину, что он в конце второго перехода встретит войска с новым табуном свежих верблюдов. Однако он генерала не обманул и войско было спасено.

Теперь уже перед Кинарейкиным никому не приходилось кичиться и заводить с ним контры, потому что он оказал несомненную большую услугу, без которой всему отряду пришла бы беда. И он на этом основании мог бы, кажется, рассчитывать на всеобщее к себе расположение, но не приобрел его, потому что встречал в этом постоянную помеху со стороны своего неприятного характера. Как только отряд стал разбирать новых верблюдов и подсортировывать остатки старых, которые еще не подошли на переходе, Кинарейкин уже всем успел наговорить колкостей, и многие не стерпели и ему отвечали тем же, а потом, когда генерал, желая сгладить эти неприятности, позвал к себе Кинарейкина ужинать, он стал еще более нахальничать, — называл себя «спасителем» и обмолвился такою глупостью, будто ему все жизнью обязаны и должны его «ручки цаловать».

Вместо благодарности Кинарейкина чуть не побили, а наперед сказали, что и не ручаются, может быть, что и вздуют.

Кинарейкин не робел и отвечал:

— Ничего, сами вздуетесь.

Одним словом был он человек препротивный, но очень смелый и очень полезный, и главный воевода за него стоял крепко и писал генералу между прочим: «Кинарейкина, пожалуйста, берегите: он человек бесценный и другого такого в нашем положении не отыскать: он незаменим». Генерал многим показал эти строки начальника экспедиции, и все знали, что Кинарейкина тронуть нельзя, хотя очень бы и очень этого хотелось. И он сам, должно быть, тоже знал это и в ус себе не дул при каких бы то ни было скрытых намеках, или даже явных выражениях ему нелюбви и неуважения.

— Нам это начихать, — говорил он, — в нас вся сила и средство. Без нас только вороньев собою покормите.

Но продовольствовал и вел войска отлично. Безлюдная и опаленная степь точно вся была у него в какой-то волшебной власти: где что нужно — там это по его мановению и явится. Особенно верблюды, в которых настояла беспрестанная нужда и от количества и силы которых зависел весь успех передвижения, — точно сбегались к нему и ждали его, где угодно. Как в чешских селах есть мышатники, которые на свистульку выманивают изо всех мест мышей и заводят их в пруды, где те и тонут, так и Кинарейкин с своими Фаптею и Макурою собирал верблюдов. С этой стороны невозможно было ими нахвалиться и «дуть» его выходило неловко, хотя он продолжал вести себя так же нагло и малопрстойно, и офицеры терпеть его не могли.

В таком настроении отряд совершал свое походное движение и имел стычки с налетавшими на него кучками текинцев. Стычки эти иногда

бывали и довольно серьезные, но русские в них обыкновенно выходили победителями и овладевали конями и стадами побежденных, а в плен никогда никого не брали, потому что пленные при таком усиленном передвижении и необходимости экономить провизией — бремя, и от главнокомандующего было дано самое строгое приказание, «чтобы пленных не было». Все это и исполняли: и никогда ни одного человека в плен не брали. Сдавайся или не сдавайся, — все равно знали, как надо делать: работали чисто и лишних ртов с собой не влекли. Но вдруг вышла ошибка: поехали раз казаки в объезд при уряднике и настигли в сухом урочище шайку текинцев. Человек тридцать их, гнали тоже верблюдов, и очень крепко защищались, так что скоро их из тридцати человек всего меньше десяти осталось, и то раненые, а здоровые бросились с ножами и стали верблюдов резать, чтобы русским не достались. Урядник казачий из староверов в ужас пришел и, чтобы они не перегубили всех полезных животных, закричал им:

— Сдайтесь на честь, — мы вас в живых оставим.

Перекрестился им на восток большим крестом и опять забожился, что убивать их не будут, и они чтобы верблюдов не резали. Текинцы и поверили и сдались, — вышли из-за верблюдов и оказалось их всего-навсего четыре человека, — трое на своих ногах, а четвертый был ранен в пах и его вынес на себе другой, на повязке через шею на верблюжьем сукне подвязанного.

Все тощие и оборванные, в самых отчаянных лохмотьях, — ни у одного как следует нагота не прикрыта, а раненый почти совсем голый, вообще прежалкие. Все темнолицые и носатые, — двое среднего роста и коренастые, без особых отметин, а один, который на себе раненого вынес, — этот был рослый и полный, в бороде седые ключья, и он имел вид престранный, — но *на этом текст обрывается*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Денис Васильевич *Давыдов* (1781—1839) — поэт, знаменитый партизан; во время Отечественной войны 1812 г. первый начал военные действия в тылу французской армии.

² Степан Александрович *Хрулев* (1807—1870) — генерал, герой Севастопольской кампании. Фигурирует в рассказе Лескова «Бесстыдник» (*Лесков*, т. 6, с. 147, 151—154).

³ Александр Иванович кн. *Барятинский* (1814—1879) — генерал-фельдмаршал, воевавший главным образом на Кавказе; в 1856 г. был назначен командующим Кавказским корпусом и наместником Кавказа. В рассказе Лескова «Голос природы» изображен эпизод из его жизни (*Лесков*, т. 7, с. 243—251).

⁴ По библейскому преданию, враждовавшие между собой много лет братья Исав и Иаков пошли на примирение навстречу друг другу, окруженные своими стадами.

⁵ *Иоанн Кронштадтский* (Иван Ильич Сергиев; 1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте; лицемер и ханжа, создавший себе известность среди религиозных кругов общества якобы чудесами и исцелениями. «...современные дуры веруют в Ивана Кронштадтского», — писал Лесков Суворину 26 марта 1888 г. (*Лесков*, т. 11, с. 374). Писатель высмеивал «чудотворца» постоянно в письмах к Льву Толстому («Письма Толстого и к Толстому». М.— Л., 1928) и изобразил его в повести «Полуношники» (1891).

⁶ Картина Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных в городе Мирах Ликийских», или кратко — «Св. Николай останавливает казнь», вызвала восторг Лескова. «Мне нравятся «Запорожцы», но я люблю «Св. Николая», — писал он Репину 18 февраля 1889 г., и продолжал далее: «...я боюсь, что «Св. Николай» будет не умно понят». В следующем письме к художнику (от 19 февраля) Лесков снова выражает восхищение идейным содержанием картины. И, наконец, 27 февраля после вернисажа пишет ему же: «На выставке нет ничего лучше «Св. Николая» и портрета Глазунова (...). Фигура палача в раме утратила свою казавшуюся колоссальность» (*Лесков*, т. 11, с. 415—417).

⁷ Юрий Николаевич *Голицын* (1823—1872) — композитор и хоровой дирижер, автор мемуаров «Прошедшее и настоящее» (СПб., 1870). См. ироническую характеристику его в «Былом и думах» Герцена, ч. VII, гл. 1 (*Герцен*, т. XI, с. 313—324).

МОСКОВСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

«Встают опять знакомые виденья».

А. Толстой¹

I

Давно и бесспорно признана сила таланта, преодолевающая самую усердную и кропотливую работу разума. Писано об этом много, доказательно и понятно. Литература об этом большая, но в последние дней наших ее еще раз коснулся талантливый человек и оживил ее новым прикладом. Я говорю о покойном Достоевском, у которого на сей предмет вытекло такое сравнение: лежит где-то *куча глины*. Все ходят мимо и видят — глина, куча, безобразие. Кто-нибудь ступит ногою, и куча делается еще безобразнее. Но вот подходит мальчик, в котором есть та творческая искра, которая называется дарованием или талантом. Он присел к глине, посплюнул пальцы и начал лепить... Бог его знает, что он такое вертит... Сначала долго ничего не заметно, но вот все взглянули и с удивлением воскликнули: «Глядите! — это морда!»²

И с той поры это уже не «куча», а это «морда».

Такой оборот дело восприняло от прикосновения к нему даровитой руки.

На сих днях всякий, кто довольно внимателен, чтобы наблюдать жизнь и отмечать ее крупные явления, мог видеть новое и прекрасное подтверждение того, как справедливо, что талант может *творить* из такого материала, из которого ничего не может придумать заурядность. Ежедневно из Петербурга в Москву отправляется четыре или пять поездов, с которыми едут в Белокаменную люди во множестве, и там едят, пьют и возвращаются, и ничего живого и нового на счет Москвы и москвичей рассказать не умеют.

— Стоит, — говорят, — такая же, как была, — грязно да дорого, да купоны вместо денег платит, а больше говорить о ней нечего.

Это так о Москве!

Но вот посетил ту же самую Москву человек наблюдательный и даровитый и полился от него как «из-под корени вешего дуба» сказания столь же занимательные, сколько остроумные и во всех смыслах поучительные.

Я говорю о замеченной всеми недавней поездке в Москву Сергея Николаевича Терпигорева, который сам же и описал свои наблюдения, опыты и заметки в нескольких интересных статьях, напечатанных в газете «Новое время»³.

Наблюдения этого талантливого человека весьма разнообразны и во многом касаются соображений политического и экономического свойства, о чем я судить не могу и не желаю, но я встречаю в них также и нечто критическое, нечто близкое литературе и очень интересное для каждого общественного человека, — таковы, например, замечания, что Москва Островского прошла, что типы этого драматического писателя сошли со сцены и заменились в жизни другими «кнутами», которые тоже бьют больно, но бьют иным способом и по иным местам.

Если бы я был самолюбив и не знал меры своим силам и не умел бы отдавать уважение преимуществам моих собратьев, то приведенное справедливое замечание С. Н. Терпигорева лично могло бы заставить меня грустить, потому что я говорил это же самое двадцать лет назад, но мое неумение было причиною того, что замечание, в существе своем совершенно справедливое, осталось без внимания. Двадцать лет тому назад я написал единственную свою весьма слабую театральную пьесу «Расточитель»⁴, которая подверглась в свое время единодушным порицаниям всех критиков, и только один из более ко мне снисходительных рецензентов, П. Ще-

бальский, заметил тогда в бывшей «Современной летописи» г. Каткова, что я наметил «новые нравы и течения в купеческой среде»⁵. Но, как пьеса моя была плоха, то и наметки новых характеров и течений, какие есть в ней, остались незамеченными. Я не умел показать дело как следует, а мой литературный друг выставил его ярко и рельефно, и его легкие, мимолетные очерки по заслугам имели несравненно большее значение, чем мой грузный и неудачный труд.

Такова сила дарования, и она этим не исчерпывается: она не только сама творит, но пробуждает и в других охоту следовать по направлению, намеченному сильною рукою.

По крайней мере я чувствую себя под такую властью и ей последую. Пространно доказывать, что купцы А. Н. Островского «отошли», едва ли стоит. Лучшее доказательство тому, что это справедливо, являет сам высокодаровитый автор «темного царства», который не дает нам более прежних типов, создавших его славу. Но это не говорит в пользу той московской непосредственности, которая, по мнению некоторых, будто бы ничему не поддается. Напротив, видно, что и здесь, как везде, проявляется один закон, что, где бессильно самое время, и там известные учреждения могут иметь большое влияние.

«Мировой судья присмирил московского самодура», — сказала давно одна московская газета, и слово это, кажется, справедливо. Но любопытно, что этот самодур (не) умер, или он только замер, присмирел, так сказать, — предложил в иной вид, но еще жив и чает возрождения.

Это стоит внимания, и хотя я не могу представить для такого решения никаких обобщающих данных, но мне рисуется одна московская картинка, которая, как будто, идет к тому, что сказал мой литературный друг, указывая на исчезновение старых типов галереи Островского.

II

Я не москвич, но немножко знаю Москву. Я бывал в ней много раз и однажды прожил безвыездно целый год. Это было во время издания графиней Салиас «Русской речи», при которой мы с А. С. Сувориным начали свою литературную карьеру⁶. Тогда в «Городе» на Никольской процветал безобразнейший по своим порядкам книжный магазин весьма в свое время известного книгопродавца и остролова Кольчугина⁷. Я любил копаться в книжных грудах этого склада и часто проводил там довольно долгие часы, то переглядывая книги, то беседуя с большим оригиналом, которому принадлежал магазин.

Сидя на деревянном табуретике у дверей этого магазина, я увидал однажды, что по Никольской проезжал⁸ на превосходном вороном коне тучный и рослый седой купец, в чуйке бутылочного цвета и в картузе с длинным прямым козырем. Он ехал в обыкновенной мелкодонной купеческой тележке без рессор и сам правил лошадю. Конь, как я выше сказал, был превосходных статей и стоил, конечно, большой цены, но экипаж был самый простой и такая же упряжь. Только одни тесненные вожжи были немножко понаряднее и купец держал их в руках, на которые были надеты старые, очень залоснившиеся, замшевые перчатки. Обе ноги купца находились в тележке, подсунутые «под передок», а рядом с ним помещался другой человек, по-видимому, у него служащий и от него зависимый. Этот был тоже не молод и одет тоже не казисто. Сидел он по приказчицы, как говорят в Москве, «половинкою», имея лишь одну только ногу в тележке, а другую «на выпуск» — на подножке.

Купец был вида мрачного и тяжелого; обличье у него было большое и глаза злые, с такою при этом особенностью, которую замечали у Грозного, который, глядя в одну сторону, мог все видеть и замечать повсюду.

Купец правил лошадьё и не спускал с нее глаз, но... ему все встречные отвешивали низкие поклоны, а он не отвечал на них ни малейшим знаком внимания.

Ему было некогда, потому что он правил. Но в этом приеме как будто было что-то изученное, что-то придуманное — во всяком разе искусственное. Это чувствовалось, это бросалось в глаза с первого взгляда, когда вам представлялся весь ансамбль церемонии: он едет тихо, шагом, как триумфатор, и не отвечает ни на один поклон, а между тем — ему все кланяются...

Что это за персона?

— Что это за московский идол? — спросил я у Кольчугина.

А тот, будучи в это время занят, переспросил меня:

— Что?.. где?

И непосредственно затем, воззрясь в проезжавшего триумфатора, выступил торопливо на крыльцо и со свойственною ему всегдашней шутовщиною, но в существе весьма почтительно, отвесил ему поклон с присловием:

— Вичу-перевичу, московскому первачу, Капиталу Ильичу, в землю кланяться хочу.

Тот не пошевелинул ни рукою, ни бровью и, объехав угол рядов, завернул влево к Мину и Пожарскому.

Я, конечно, пожелал узнать: в чем сила и значение этого «первача», но Кольчугин отшутился и не стал рассказывать. Кое-что мне удалось узнать от других.

III.

«Капитал Ильич» имел, разумеется, другое крестное имя, которое я в подлиннике не назову. Положим здесь для себя, что его звали Капитоном. Он был богат, имел много разных фабрик и заводов и обладал безмерным честолюбием. Происходил он, как большинство наших торговых людей, из «сущей мелюзги», — был лавочным мальчиком, потом приказчиком, обокрал хозяйна, женился на дуре, которую ранее соблазнил и поставил ее родителей в необходимость обвенчать ее с ним при непременно условии хорошего приданого. Затем у него пошли «хорошие дела» и он разбогател, сделался ктиторм⁸, покровительствовал больницам, получил медали и гражданство и стал вхож в дом «к графу», т. е. к Закревскому⁹. Здесь он сумел заинтересовать графиню Нессельроде¹⁰ красотою и удобством уединенного местоположения одной из своих подгородних дач, которая графине очень понравилась и сделалась любимым местом ее *partie de plaisir* *, с избранным кружком друзей, которые принадлежали к людям разного общественного положения.

Капитал Ильич устроил так, что графиня приезжала сюда все равно как в свой собственный замок, снабженный всем, чего только могла пожелать самая несдержанная прихоть, и при этом словно отделенный от всего мира непроглядной стеною. И никто, ни один человек с ненадежным слухом и духом ни чему этому не был свидетелем, потому что все было предусмотрено радушным хозяином, который сам невидимкой встречал гостей своих. Здесь точно в очарованном замке двери всегда открывала невидимая рука и всегда стоял стол, яствами покрытый, и за ним свободно и весело раздавались радостные клики.

Всем это было хорошо, а Капиталу Ильичу и еще того лучше. Граф был всегда на его стороне и защита его в лице сильно жившей графини не дремала. На Ильича доходили жалобы, что он дурно считает и не честно плотит, но граф этого и не отвергал. Он говорил:

* увеселительных поездок (франц.).

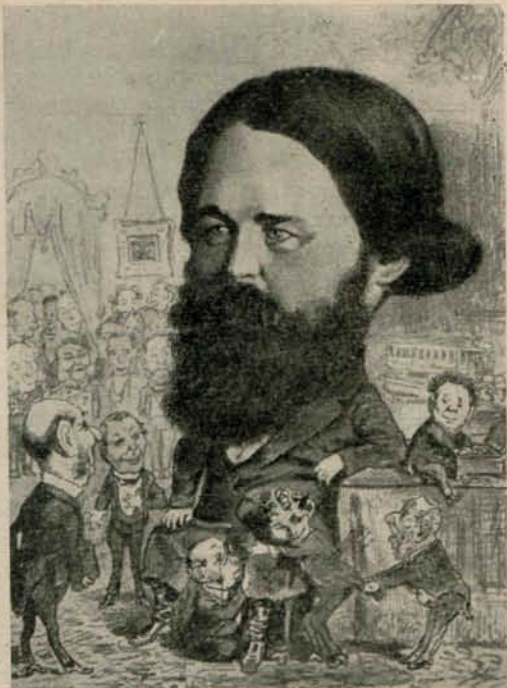
КАРИКАТУРА
НА НАСТУПАЮЩЮЮ ВЛАСТЬ
КАПИТАЛА

Литография

по рисунку А. И. Лебедева

«Карикатурный альбом современных русских деятелей, исполненный художником А. И. Лебедевым».

СПб., изд. журнала «Стрекоза»,
1877



— Что ж такое? Я все это прекрасно знаю. Он большой плут, но я бы желал знать, которые из них не плуты? Те, быть может, еще хуже.

С Капитала Ильича стали «взятки-гладки», и его стали побаиваться. Он мог уже не только обчитать и не отдать, но и обидеть еще иначе.

Заговорили: «он нашел, — он в случае» — и стали ему кланяться.

В Китае потребовались «яркие сукна», т. е. сукна ярких цветов в китайском вкусе, которые у нас идут только на отделки и потому заготавливаются не в большом сравнительно количестве.

Капитал Ильич один узнал, что на этот товар будет требование большое, и, когда требование вскоре за тем воспоследовало, он один же нашелся в возможности его выполнить. Это отлично его поставило в глазах дипломатии, дало повод с успехом ходатайствовать о награждении его самыми высшими наградами и доставило в его руки страшные суммы денег.

Товар был прекрасный и, будучи сбыв китайцам только втридорога, утвердил за Капиталом Ильичом первое имя и в поднебесной империи.

Дома у него была глухая жена и глухие дети. Дочерей он выдавал замуж, надувая зятьев на приданом, а сына бил и ничего хорошего из него не выбил. Огромный малый пил, гулял, таскал из выручки и нередко валялся на земле под заборами отцовских учреждений.

Чтобы исправить негодяя — его женили.

IV

На другой год к мене с Китаем приготовили сукон все, кто занимался этим делом. Конкуренция была очень большая и уже не обещала Капиталу Ильичу прошлогодних выгод, но его коммерческий гений нашелся и повернул дело в его пользу сугубо.

Китайцы разменялись на сукна и отъехали восвояси, но, когда осмотрелись дома со своим приобретением, то заметили дотоле невиданную стран-

ность: в очень большой доле сукон настоящее сукно оказалось навитым только поверху, а середина тюков или свертков была из дубовых кругляков, только лишь по верху оклеенных суконной покровкой.

Этого они еще никогда не видали у себя в поднебесной империи и с сожалением вспомнили о том, как хорошо им было получить товар из рук одного Капитала Ильича. Теперь, когда товар, разойдясь в розницу, перешел через несколько рук, нельзя уже было найти ни правого, ни виноватого, кто подсудобил такие гостинцы.

В торговле между китайцами это произвело тревогу, близкую к панике, и китайцы выражали желание иметь вперед дело с одним Капиталом Ильичом.

Он об этом был извещен и потирал бороду, а меж тем заготавливал новый крупнейший запас сукна, так как, кроме его одного, китайцы ни у кого брать не станут. Все остальные должны были потерпеть большой стыд и повезти с уроном свой товар обратно.

Обстоятельства, однако, перевернули весь этот план кверху ногами, и расчет Капитала Ильича не удался, потому что прежде, чем пришли сукна сомнительного достоинства, которые изготовил под Москву Капитал Ильич, коварные англичане привезли в Китай сукна, какие там требовались, и китайцы их купили и вперед дали заказы.

Капитал Ильич видел в этом возмутительное предательство и *casus belli* * для русского государства с государством китайским. В Москве нашелся орган, который взглянул на дело очами Капитала Ильича и толковал описанное событие как случай международной политики, который требовал будто «немедленного и твердого вмешательства», но русская дипломатия или пропустила это без внимания, или не сочла за *casus belli* и за то понесла укор в вялости и «ненациональности».

Сами дриады и нимфы, которым он давал радушный приют в тени садов своего роскошного загородного дома, не могли пособить этому горю.

Самолюбие Капитала Ильича этим было потешено, но капитал его был потрясен и дела его пошатнулись. Националы в политике обратились к другим вопросам, какие им давали обстоятельства, а торговые товарищи стали ему ленивее кланяться и даже осмеливались проникать в глубь настоящих причин потери и сравнивать Капитала Ильича с «шелудивою овцою, опорочившей все стадо».

Этого он не мог снести, как двойной, сугубой обиды. Он не мог отомстить чужим, неверным людям, но своих он должен был вразумить и подвести к порядку.

Он этого и достиг.

Он перестал мелькать на глазах, скрылся в своих тихих загородных заводах и, полюбив уединение, проводил время с загуляющим московским человеком Мартемьяном Лукичом. Человек этот был на все руки дока — он был иконописец и рисовальщик, давил басму на «старый штыль», знал секрет «подводить амалию» (т. е. эмаль), чеканил «хрестом и травками», но при столь золотых руках имел, как говорят, «рыло на сторону» и тем все дело портил, и нигде не уживался, а пребывал в «комплекте кабацком».

И пришел этот муж Капиталу Ильичу на мысли, и он его взял, сожаления ради, к себе «божие благословение чинить» и поселил его «в баньке», в том тихом, незаметном для глаз приюте, куда наезжали к нему из города дамы, бежавшие светского шума и любопытных глаз.

Сюда привозили к Мартемьяну из обширных образниц Капитала Ильича иконы целыми тяблами, и он их «просматривал» и починял. Где соринку снимет, где омерщую олифу наведет, где выпавший глазок вставит.

* повод к объявлению войны (лат.).

1.

Московское привидение.

Впервые опубликовано в
 «Русь»
 в. Давыдов.

I

~~Мой милый друг Давид~~ и
 Вестник привидения села Толокни, про-
 должающая службу государю и крепост-
 ливцу работнику государю. Писали обо Эфке
 Иване, Докосовом и повестию. Служба
 государю обо Эфке Давыдов, но ее по-
 дарили Давиду как еще один из лучших
 талантов в селе и офицера и по-
 сле привидения привидения. Ее посыл-
 ала посылка Давыдовской у кофеев
 на ее предвостановление так же как
 и в. Илья Давыдов конец письма. В. Давы-
 дов Иван и Давыдов Иван, Иван. Давы-
 дов Иван и Давыдов Иван и
 Иван Давыдов Иван Давыдов Иван. Но
 вот подвиги Илья Иван, в которых
 еще не так много работы. Илья Иван
 Иван Давыдов Иван Иван Иван Иван
 Иван Иван. Он привидел к Ивану, Ивану
 Ивану

«МОСКОВСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

Автограф Н. С. Лескова, 1885. Лист первый

Центральный архив литературы и искусства СССР, Москва

А Капитал Ильич наблюдает и смотрит, чтобы не снесосторожничал, не повредил бы отчей старины. А фабрики его все идут, да идут, и у кого из соседей худо, а он все производит и платит, и всех удивляет.

— Откуда он берет?!

А ему «бог подавал от незримости».

V

Встала крымская война. Потребовалось все, что нужно беспрестанно увеличивавшейся армии, и Капитал Ильич сбыл на пользу отечества все, что у него было заготовлено во время «беспотребное».

— Вот что значит выдержать! — говорили.

— Да,— отвечали другие,— но как только он мог выдержать?

Но опять вспомнили божие всемогущество и примолкли. Только, бывало, разве чай допивая, сердитее чашку на блюде опрокинут.

Мол: дуй-те горою со всем и с его выдержкой!

Позже стали больше ронять.

Случалось, что иной скажет:

— Если этакими манерами не пренебрегать — можно еще и больше нажать.

А какие такие манеры?

На это никогда не отвечали прямо, и не ответят и ныне, но, когда во время войны стали появляться в изобилии фальшивые деньги, в Москве не все верили, что изготовление их производится одними заграничными средствами, без посредства внутренних деятелей.

Только при Капитале Ильиче вслух об этом не говорили, и совершенно напрасно, потому что он никаких таких разговоров близко к сердцу не принимал.

— Может быть, так, а, может быть, и иначе, — какое ему дело?

Есть довольно много бесчестных людей на свете, которые готовы пользоваться даже затруднениями своего отечества. Это от равнодушия и холодности к вере. Капитал Ильич был в вере тверд и наипаче еще в ней утверждался в уединении с рабом Мартемьяном, который под его рукою от всех давних пустошеств отстал и совсем «нраву преложился», — пустоществ отстал и пил или нет — неведомо, но если и пил, то не ища компании, а во едином числе.

Разбирать всех этих вещей в тонкость было некогда в то время, когда долго задержанная в своем течении жизнь как бы сорвалась и пошла щелкать, костить со счетов месяц за год. Нужны были скорые средства, чтобы изъять все, что кто мог исхитить из ринувшегося потока событий. Десятки тысяч быстро давали миллионы или низводили в яму... Те и другие случаи были явлением почти ежедневным и разжигали торговые страсти, требовавшие прежде всего денег для почина. Их надо было доставать во что бы то ни стало прежде, чем сделать первый шаг для непосредственных сношений с учреждениями и лицами, от которых зависело допущение к делам. Это было время, которое приуготовляло разыгравшиеся впоследствии загадочные эпопеи Затлера и других лиц, воспоминания о которых связаны с воспоминаниями «скорбных листов крымской войны»¹¹.

Московские ростовщики делали тогда большие и смелые дела, они ссужали предприимчивых аргонавтов широкою рукою и точно, будто не боялись никакого риска, но зато брали проценты ужасные. Десять процентов в месяц считалось условием обыкновенным и даже «христианским», т. е. милостивым. И их давали не скупясь, потому что всякий рассчитывал только «перехватить» на короткое время, чтобы «захватить дело», вознаграждавшее расход сторицею, и притом тотчас же после первой срывки с казны.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Неточная цитата из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон-Жуан» (ч. I, сцена в комнате во дворце Дон-Жуана) — «Встают опять чудесные виденья».

² Об отношении Лескова к Достоевскому см. нашу ст. «Н. С. Лесков о Достоевском» — ЛН, т. 86, с. 606—620.

³ Сергей Николаевич Терпигорев (псевд. Атава; 1841—1895) — писатель и журналист; приятель Лескова. Сохранилось 70 писем Лескова к нему за 1882—1894 гг. (ИРЛИ, ЦГАЛИ); из них только два письма вошли в Собрание его сочинений (Лесков, т. 11, № 13 и 72). Четыре фельетона Терпигорева под общим заглавием «Наследство боярина Кучки. (Дорожные заметки и размышления)» были напечатаны в «Новом времени» (1885, 1-е изд., № 3182, 3189, 3196 и 3203, от 6, 13, 20 и 27 января). В характеристике Москвы автор уделил особенное внимание московскому купечеству. По его наблюдениям, московские купцы, целую галерею которых вывел Островский в своих комедиях, теперь сходят со сцены, «уступая свое место людям близким, себе,

своим кровным, но в то же время людям совсем другого уж типа». Нынешние купеческие воротилы стали фабрикантами, их в Москве называют «кнуты». Они интеллигентны, образованы, ведут себя прилично, ничем не напоминают Тит Титычей. Новый купец знает цену вещам, он не бьет зеркал. «Он ничего не изломает и не бросит, кроме человека»; он ломает и бросает у себя «на фабрике тысячи людей, когда они ему не нужны, или когда сохранить их обойдется дороже...» В нем живет «ужасный дух»; «извергнут» — это страшное явление, — таков вывод Терпигорева.

⁴ Драма Лескова «Расточитель» имеет дату — 26 мая 1867 г. (Лесков, т. 1, с. 386—409). Премьера ее состоялась 1 ноября 1867 г. в Александринском театре (в августе она вышла в свет отдельным изданием).

⁵ Лесков имеет в виду статью П. К. Цебальского «Театральная хроника. Расточитель, драма г. М. Стебницкого». — «Современная летопись» (Москва), 1869, № 1, 5 января, с. 13 (за подписью: П.).

⁶ Сведения о годичном пребывании Лескова в Москве не точны: он жил в ней всего полгода (с июня — июля до декабря 1861 г.). Первое выступление его в «Русской речи» было 23 февраля 1861 г. («Письмо из Петербурга» о лекциях Н. И. Костомарова). Осенью того же года он порвал с редакцией газеты.

⁷ Иван Григорьевич *Кольчугин* — московский книгопродавец, привлекался в 1827 г. к дознанию по делу братьев Критских (см. о нем статью Ю. Г. Оксмана «Переписка Белинского». — *ЛН*, т. 56, с. 237). Лесков упоминает книжный магазин Кольчугина на Никольской и в очерке «Владычный суд» (гл. 19 — Лесков, т. 6, с. 142).

⁸ *Ктитор* — церковный староста.

⁹ Арсений Андреевич гр. *Закревский* (1786—1865) — генерал-адъютант, министр внутренних дел (1828—1831); с 1848 по 1859 г. — московский военный генерал-губернатор. Лесков иронически говорит о нем в «Мелочах архиерейской жизни» (гл. XV — Лесков, т. 6, с. 514—515), в рассказе «Штопальщик» (гл. XII — там же, т. 7, с. 106) и в очерке «Пресыщение знатностью» (там же, т. 11, с. 177, 189).

¹⁰ Лидия Арсеньевна гр. *Нессельроде* (1826—?) — единственная и обожаемая дочь А. А. Закревского; с 1843 г. — фрейлина; была замужем (с 22 января 1847 г.) за камергером Дмитрием Карловичем Нессельроде, сыном государственного канцлера. Но в 1850 г. она ушла от мужа и переселилась к родителям в Москву.

А. В. Никитенко писал в своем дневнике о том, что она «не хуже Мессалины» известна «своими похождениями» (А. В. Н и к и т е н к о. Дневник, т. II. М. — Л., 1955, с. 84). Внешним поводом для отставки Закревского послужило устроенное им скандальное дело — второй брак его дочери, не разведенной с первым мужем.

¹¹ Федор Карлович барон *Затлер* (1805—1876) — генерал-майор артиллерии, главный интендант Южной и Крымской армий в 1853—1856 гг. По окончании войны был несправедливо обвинен в допущенных хищениях во время кампании и по суду разжалован в рядовые с лишением всех прав. Неоднократно выступал в печати в свою защиту. В 1869 г. был восстановлен в правах. Автор «Записки о продовольствии войск» (4 ч., 1860—1865) и др. работ.